

ТАЙНЫ  
ЗЕМЛИ РУССКОЙ



## III МЯТЕЖНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ



АНДРЕЙ  
БОГДАНОВ

Жертвы  
церковной смуты  
Кто такие  
раскольники?  
Разум против  
власти  
Русские писатели  
под церковным  
судом



**Андрей Петрович Богданов**  
**Мятежное православие**  
Серия «Тайны Земли Русской»

*Текст предоставлен правообладателем*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=14654710](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654710)  
*Богданов А.П. Мятежное православие: Вече; Москва; 2008*  
*ISBN 978-5-9533-3290-3, 978-5-4444-8305-3*

**Аннотация**

Корни громких политических процессов над инакомыслящими, имевших идеологическую и назидательную подоплеку, уходят в глубь веков русской истории. Стяжательствующее духовенство и Иван Грозный против монаха-проповедника Артемия; всесильный патриарх Филарет против поэтов князя Ивана Хворостинина и Антония Подольского; абсолютный монарх – «солнце» – Алексей Михайлович с сонмом русских и иноземных православных иерархов против протопопа Аввакума; сверхмощный карательный аппарат петровского государства и «мудроборцы» во главе с патриархом Иоакимом против просветителя Сильвестра Медведева – вот неполный перечень событий и героев книги.

Рассчитана на широкий круг читателей.

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Предисловие                       | 5  |
| Глава I                           | 8  |
| Глава II                          | 31 |
| Глава III                         | 67 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 81 |
| Комментарии                       |    |

# **Андрей Богданов**

## **Мятежное православие**

© Богданов А.П., 2008

© ООО «Издательский дом «Вече», 2008

## Предисловие

В книге рассказывается о людях, которые искали пути духовного совершенствования, стремились познать и улучшить мир, а также о тех, кто старался им в этом воспрепятствовать. И те и другие изначально принадлежали к сообществу верующих, Русской православной церкви. Писатели, подвергавшиеся судебному преследованию, оставались в рамках христианского мировоззрения. Они не были еретиками, но они самостоятельно мыслили и в своих сочинениях отстаивали это право. Церковь как идеологическая организация, имеющая определенную политическую власть, стремилась ограничить свободу творчества, не стесняясь в выборе средств насаждения единомыслия. Высший эшелон церковной иерархии проводил такую политику последовательно на протяжении столетий. И дело вовсе не в моральных качествах или особом консерватизме православных архиереев (среди которых встречались весьма просвещенные и смелые в своих суждениях люди). Объяснение позиции церковных соборов, а позже Синода, осуществлявших суд над русскими писателями, требует более широкого взгляда на церковную организацию как стабилизирующий фактор системы – в данном случае системы феодально-крепостнической, перерастающей в военно-полицейский, бюрократизированный абсолютизм Российской империи.

Дело не только в том, что русская православная иерархия была экономически связана с системой, получала значительную часть доходов от феодальной эксплуатации населения. Со времен принятия восточного христианства князем Владимиром церковная организация на Руси находилась под политическим влиянием светской власти, перераставшим в подчинение единовластию по мере его становления и укрепления. Уже Иван Грозный терпел возле трона только холопов, без различия кафтанов и мантий. Иерархи, осмеливавшиеся протестовать против государственного произвола, заточались в темницы и истреблялись, как митрополит Филипп, патриарх Гермоген (уморенный боярами-изменниками в союзе с интервентами) и многие другие. Попытка Никона утвердить церковный суверенитет была подавлена мощной машиной абсолютистской власти царя Алексея Михайловича, а его сын – Петр I превратил православное духовенство в служащих духовного ведомства своей империи. С этого времени до 1917 года на деформированную церковную организацию были официально возложены охранительные функции.

Главы этой книги, посвященные конкретным людям и историческим событиям, отражают процесс втягивания церкви в государственную охранительную систему с XVI до начала XX века – процесс равно драматический для русской церкви и российского общества. Единовластие требовало единомыслия – и оно при самом непосредственном участии государственной власти насаждалось в церковной иерархии и церкви в целом. Логика исконно противного человеческому духу авторитарного правления определяла философскую, моральную суть конфликта и его формы. Власть выступала против Человека, силилась наложить оковы на гуманистическую мысль. Ложь, клевета, пытки, послушные продажные и подставные судьи, другие подобные средства сокрытия от народа и искажения сути конфликта с писателем складывались в особую форму политического процесса для уничтожения инакомыслящих и воспитания у благонамеренных ненависти к «чужим».

Церковное осуждение духовных и светских писателей всегда превращалось в идеологический и дидактический акт «отмежевания» от чего-то, якобы чуждого Русской православной церкви, вредного и опасного для государства, а следовательно, и для каждого верующего. Духовное порабощение подразумевало воспитание чувства единства в одинаковости, превосходства этого единообразия над окружающим враждебным миром, насаждение ненависти и страха перед живущими иначе, постоянного поиска врагов-агентов: чуждых идей и чуждых людей. Мощь организации государственной церкви, последовательная трансформа-

ция ею христианского мировоззрения не могли не обеспечить успехов на этом пути. Недаром основанием для подавляющего большинства политических процессов на Руси были добровольные доносы.

Читатель этой книги, безусловно, задастся вопросом о причинах страха, почти патологического ужаса церковных и светских судей перед писательским словом, их стремления любой ценой и всеми средствами воспретить письменное или устное обращение подсудимых и осужденных к людям. Нет, организаторы политических процессов не были параноиками. Если они воспринимали листок исписанной бумаги как бомбу, то, очевидно, имели на это основания. Русская литература – духовная и светская, художественная и научная, поэтическая и прозаическая – заключала в себе неосызаемый, но могучий дух сопротивления, а затем и наступления на бастионы единовластиа и единомыслия.

Слово истинного писателя, в самые тяжелые времена обращавшегося к лучшим сторонам человеческой души, находило отклик, переписывалось и распространялось, несмотря на все препятствия. Оно выражало и сберегало духовные ценности народа. Оно было идеалистическим, поскольку, не смиряясь с жизненной практикой, открывало человеку более совершенный мир. В то же время оно было реальным по своему противодействию существующему строю жизни, гармонично сливалось с глубинными народными идеалами правды и справедливости.

Донести это слово до читателя – важнейшая задача книги. Ее герои говорят собственным языком (лишь слегка адаптированным для лучшего понимания древних авторов современным читателем) – языком своих книг, поэм, писем, проповедей. По-своему примечательный язык и у антигероев – в доносах, поношениях и проклятиях, судебных обвинениях и приговорах, секретных документах и расписках о заслуженной мзде. Жизнь и труды писателей – не просто наша история, опыт которой только начинает возвращаться обществу. Очень часто это живой урок человеческого поведения в антигуманных условиях, утверждения нравственных основ, форма которых исторична и личностна, но суть вечна. В судьбах писателей – главных героев книги – отразились важные исторические процессы, познание которых не только полезно, но и необходимо.

Содержащийся в книге материал позволяет увидеть закономерность осуждения накануне опричного террора и Великого разорения России монаха Артемия, смиренно проповедовавшего отказ от эксплуатации духовенством чужого труда, любовь к ближнему и духовное совершенствование в противовес стяжательству, ненависти, внешней обрядности. Человек, выступавший против охоты за «еретиками», против беззакония и осуждения за мысль, сам был осужден. Его христианские идеалы были объявлены ересью – и вскоре кровь народа, да и духовенства, реками потекла по Русской земле во славу Ивана Грозного.

«Может ли духовное лицо распалять народные страсти, призывая к кровопролитию?» – задавался вопросом поэт и публицист князь Иван Хворостинин, воевода Смутного времени. Есть ли между врагами – католиками и православными – различие, которым можно было бы оправдать смертоносную ненависть? Мог ли избежать осуждения критик порядков и нравов, сложившихся в условиях массовых репрессий, гражданской войны и интервенции, перераставших в сражение за веру?

Критически мыслящий, отстаивающий свою точку зрения человек оказывался равно неуместен в духовном звании, при дворе и в административном аппарате. После Смуты реакция продолжала наступление, результаты которого сказывались на духовном здоровье народа, деформировали нравственные основы мировоззрения писателей. Если Артемий утверждал, что «еретиков ныне нет», то Хворостинин в запальчивости бросал обвинение в ереси своим доносителям и судьям, а подьячий, поэт и книжник Антоний Подольский участвовал в церковном осуждении своих противников прежде, чем был осужден сам. Ограничение мысли, истребление духовности и насаждение нетерпимости все более сводили рели-

гиозную мысль к внешнему ритуалу и букве. Богословие окостеневало, противники уже не способны были слушать друг друга.

Осуждение Антония Подольского, пытавшегося бороться с общественными пороками, но зараженного нетерпимостью к инакомыслию, как бы предрекало судьбу «огнепального» протопопа Аввакума Петрова. Закономерен был раскол Русской православной церкви, не нашедшей выхода из кризиса религиозного мировоззрения. Активнейшую роль сыграла в трагическом развитии событий светская власть во главе с царем Алексеем Михайловичем, подминавшая под себя остатки церковного суверенитета. Раскольниками были не только и не столько Аввакум и его соратники. Высшие иерархи русской церкви и преследуемые староверы, приехавшие в Москву подлинные и мнимые архиереи с православного Востока и направлявшие их действия государственные чиновники – все объединили свои усилия в смертельной вражде к инакомыслию и раскололи веками складывавшееся подлинное церковное единство, осветив свою пиррову победу кострами инквизиции и самосожженцев.

Поиск путей, основы для диалога, а не взаимоуничтожения, заставил настоятеля Заиконоспасского монастыря, историка, поэта и просветителя Сильвестра Медведева обратиться к рационализму. Каждый человек имеет право рассуждать самостоятельно, истина не зависит от воли и авторитета власти, заявил в своих сочинениях этот мужественный человек, нашедший поддержку у народа. Организация травли и осуждение Медведева как политического преступника, якобы желавшего уничтожить светскую и духовную власть, его казнь на Лобном месте показали бессилие церковной иерархии в открытой борьбе с новыми идеями и ее готовность спрятаться под крыло двуглавого орла.

Не только насилие Петра I, но и логика развития церковной организации в составе российского общества вели к трансформации ее в духовный департамент империи. И до этого церковные суды над видными мыслителями и общественными деятелями проходили при поддержке, участии и даже руководстве светской власти. С 20-х годов XVIII века церковный суд потерял и видимость самостоятельности. Осуждения и отлучения, запретительство духовной цензуры продолжались в XVIII, XIX и начале XX века уже как деятельность одного из государственных учреждений российской монархии. Для истории Русской православной церкви синодальный суд малоинтересен, все более снижалось и его общественное значение.

А человеческая мысль все смелее двигалась по путям рационализма, отбросив, как это сделал М.В. Ломоносов, всякую заботу о соответствии знаний церковным установлениям. Своеобразный индифферентизм Ломоносова по отношению к церкви – сам по себе глубоко показательный – продолжался до той поры, пока чины духовного ведомства не мешали «приращению наук». Попытка Синода осудить Ломоносова окончилась плачевно для духовенства, едко высмеянного замечательным поэтом и разоблаченным великим русским ученым.

Под эгидой самодержавия духовное ведомство все более и более «отступало из культуры». Если в XVI веке Артемий пытался проповедовать гуманистические идеалы христианства в лоне церкви, то для Л.Н. Толстого утверждение любви к ближнему, человеческого равенства, отрицание насилия оказались несовместимыми с православием. Отлучение Толстого в 1901 году стало самоосуждением государственной церкви, завершающей строкой приговора, писавшегося ее преступлениями против человеческой мысли и человеческих прав и совершившегося над ней вместе с падением самодержавия.

## Глава I «Молчи, отче!»

Вступая в Новое время, Европа освещала сумрак Средневековья не только светом гуманистической мысли Возрождения, но и огнем десятков тысяч костров, сжигавших плоть еретиков, отступников, ведьм – на деле же силившихся уничтожить вольнолюбивый человеческий дух. Никогда еще христианские народы не вели между собой столь жестоких истребительных войн, никогда еще столь свирепо не избивали «внутренних врагов». Католицизм и реформация, распавшаяся на отдельные потоки, терзали многострадальный континент, с особым изуверством преследуя собственных «уклоняющихся» адептов, «очищая» от них землю всеопалющим огнем аутодафе. В конце XV и начале XVI века инквизиционные костры запылали и в России, только что сплотившейся в единое государство. С этих пор один за другим следовали судилища над новыми и новыми еретиками, уничтожаемыми Русской православной церковью хоть и в меньших масштабах, чем на Западе, но не менее беспощадно. Жестокостям религиозных конфликтов, одичанию церковных и светских властей и целых народов, орудиям пыток и пламени костров противостояли духовные искания, до сих пор поражающие гуманизмом, глубиной и смелостью нравственного чувства. Малочисленные и безоружные перед сонмами палачей, с одним лишь пером в руках, подвижники человеческого духа воздвигались над кровавыми волнами своего века. Одним из них был русский монах Артемий.

Источников о его жизни сохранилось очень мало. Это – часть его сочинений, чудом дошедшая до нашего времени, доносы и другие материалы преследования его церковным судом, кратчайшие упоминания в летописях и сказаниях, а также высокие отзывы просвещенных современников. Из этих крупиц историкам удалось, однако, восстановить основную канву биографии Артемия<sup>[1]</sup>. Мы же постараемся, наряду с внешними событиями, проследить внутреннюю жизнь литератора в России, последуем за его пером, тем более что далеко не все, записанное на толстой шершавой бумаге в XVI веке, устарело в наше «просвещенное время» (как называют свои времена современники уже несколько столетий). Мысли Артемия в религиозной форме – господствовавшей в то время форме мировоззрения – содержат легко читающийся общечеловеческий, безотносительный к какой-либо идеологии смысл, не требующий, на мой взгляд, особых пояснений.

Полагают, что Артемий родился в начале XVI века на псковской земле. Он не был свидетелем кровавой расправы над еретиками после присоединения Пскова к Москве, но вырос среди очевидцев этих событий. Артемий постригся в монахи в Печерском монастыре, что стоял в 56 верстах от Пскова, на границе с Лифляндией. Духовным развитием Артемия руководил игумен Корнилий, «муж свят, и во преподобию мног, и славен» (по отзыву князя Курбского), проповедовавший столь ненавистное церковным властям и богатым монастырям нестяжание – отказ от имений (в 1570 году Корнилий был убит Иваном Грозным). Монахи жили трудом своих рук, стремясь к духовному совершенствованию и познанию. «Христово имя, – писал в одном из посланий Корнилий, – честнее всякого богатства».

Честная жизнь и изучение святых книг считались в Печерском монастыре важнее соблюдения ритуала. Артемий читал много, не только Священное Писание, но и произведения духовных писателей, таких, как Василий Великий, Исаак Сириянин, Иоанн Дамаскин, Григорий Богослов, Дионисий Ареопагит, Ефрем Сирин, Максим Исповедник, Максим Грек и другие. Любимым его русским богословом стал знаменитый подвижник Нил Сорский – проповедник нравственного совершенствования и аскетизма, нестяжательской скитской жизни, призывавший к соблюдению божественных заповедей для познания бога в себе

самом, осторожному отношению к различным «писаниям», которых «много, но не все божественны суть» и которые нельзя принимать на веру, без исследования. Артемий столь преуспел в книжных занятиях, что счел себя в силах отправиться в соседний ливонский город Нейгауз для публичного диспута с каким-либо «книжным человеком» (протестантом или католиком). Достаточно ученого богослова для диспута в Нейгаузе не оказалось, а игумен Корнилий смог беспрепятственно основать в этом городе православный храм. Характерно, что уже тогда Артемий ездил не обличать иноверца, а «поговорить книгами» с представителем иной церкви, поспорить с иной точкой зрения.

В 1536 году Корнилий благословил Артемия отправиться в Заволжье – средоточие нестяжательствующего монашества, ведущего скитскую жизнь, удалившись от соблазнов больших богатых монастырей. Пришелец поселился на Белоозере в Порфирьевой пустыни, где провел много лет, по завету Нила Сорского «умным деланием» – самой жизнью и напряженной духовной работой – утверждая свои идеалы. Здесь вокруг него сложился небольшой кружок учеников и последователей (куда входил, среди прочих, Феодосий Косой, будущий создатель «рабьего учения» городской и крестьянской бедноты). От книжной работы Артемия этого времени сохранилась (чудом!) лишь одна рукопись – обширная Постническая книга Василия Великого с послесловием «многогрешного инока Артемия, написавшего книгу сию».

Казалось бы, какое дело суетному стяжательскому миру, погруженному в свары и раздоры, до одного затерявшегося в заволжских лесах монаха?! Какое общественное значение могли иметь его скитское затворничество и аскетические раздумья над Священным Писанием? Правда, Артемий имел учеников, сблизился с блаженным Феодоритом и другими видными заволжскими старцами, проповедовал словесно и письменно, приобретал все больший авторитет. Но Артемий остался бы малозаметным, если бы массы людей не видели столь явно отталкивающих черт господствующего богатого и жестокого иосифлянского (по имени духовного отца стяжателей – Иосифа Волоцкого) духовенства, не искали нравственного идеала, дававшего хотя бы проблеск надежды на более светлую и чистую жизнь. Слухом о человеке, живущем в соответствии со своей проповедью, наполнилась Русская земля. Духовнику царя Ивана IV протопопу Благовещенского собора Сильвестру не было нужды преувеличивать, когда он писал, что Артемий «всеми людьми видим был, и ближними, и дальними».

Это были не пустые слова хотя бы потому, что протопоп Сильвестр решил использовать известность Артемия в своих целях, возвысив его, чтобы несколько ослабить позиции иосифлян среди церковных иерархов. Заволжскому старцу было послано из Москвы предложение возглавить Корнильевский монастырь в Вологде. Артемий не просто отказался, но «явственно» объявил себя противником монастырского землевладения, пояснив, что стяжатели не спасают свои души. Иосифляне это ему запомнили. Видимо, отсюда можно начать отсчет борьбы могучей церковной иерархии и тихого старца из заволжской пустыни, среди трудов по пропитанию и молитв предающегося литературным занятиям. Откроем единственное сохранившееся от этого времени письмо Артемия и посмотрим, о чем он думал<sup>[2]</sup>. Я привожу слова Артемия отчасти в пересказе, отчасти в адаптированных цитатах, чтобы язык XVI века не создавал дополнительных трудностей для понимания смысла его проповеди.

Артемий отвечает на вопросы монаха одной из заволжских пустыней, обращаясь к нему и его братии. Прежде всего он выражает удовлетворение, что адресат понял необходимость исследования истины, и, извиняясь по обыкновению за свое малоразумие, предлагает собственное мнение по поставленным вопросам, разумеется не «из головы», а по Евангелию и Отцам Церкви.

Адресат «хотел бы ведать заповеди Господни». Вопрос кажется наивным, но лишь на первый взгляд. Речь идет об основных жизненных установках, о том, в чем же суть христи-

анства? На эту тему, справедливо замечает Артемий, сказано много и разнообразно. Он же формулирует основной закон жестко и афористично, исходя непосредственно из евангельского учения: «Первое всех заповедей есть – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей мыслью твоей. Это первая и главная заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях весь закон и все пророки утверждаются. И больше этой иной заповеди нет!» Все остальные слова Христа – лишь интерпретации и пояснения этих заповедей, исходя из уровня понимания слушателей. «Видишь ли, – пишет Артемий после своих аргументов, – как эти две великие все вместе заповеди в себе объемлют и затворяют и вновь две они воедино сливаются, ибо единой силой держатся...»

В «лукавое время», когда христиане вставали друг на друга и истребляли друг друга во имя Божье из-за неких различий в своих учениях, Артемий не просто отмечает все эти предлоги взаимоуничтожения, но подчеркивает слова апостола Иоанна: «Кто говорит: “Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец». Вера и ненависть к людям несовместимы. «И что много говорить?... Сам Бог есть любовь», только имея любовь, можно иметь в себе Бога. Артемий отлично сознает, что человеку с таким сознанием нелегко жить среди современников, но настойчиво призывает адресата сосредоточиться на идее добра и несотворения другому того, чего не хотел бы себе.

Рассказав еще одну евангельскую притчу, Артемий прямо подчеркивает антииосифлянскую направленность своих убеждений, ибо «неудобь имущим богатство в царство Божие внити». «Внимай опасно говорящееся! – обращается он к адресату. – Прежде всего требует Господь сохранять естественные заповеди, в законе писанные, чтобы удалиться от злых дел. Когда же достигнешь этой степени совершенства – Господь повелел раздать неимущим все достояние и следовать за ним не просто, но взяв крест – то есть быть готовым умереть за истину!.. Говорит бо сам: в мире скорби будете. Ибо обычай есть живущим временными интересами ненавидеть Христовых учеников. Потому что премудрость Божия супротивна мудрости мира сего. Совершенная премудрость, говорит апостол, – это не премудрость века сего, временных князей... ее никто от князей века сего не разумел!» Надо надеяться лишь на то, что напасти и бедствия не превзойдут сил верующего.

«Ты спрашиваешь, – продолжает проповедник, – как не заблудиться от верного пути?» Для этого Артемий советует следовать истинным божественным писаниям: как говорил еще Нил Сорский, «писаний много, но не все божественные. Ты же ищи настоящую истину от чтения и бесед с духовными разумными мужами. Потому что не все, но разумные понимают». Артемий обстоятельно поясняет, что есть истинный и ложный разум, «ибо всегда были пророки – и многие лжепророки, и когда явился Христос – многие лжехристы, и когда апостолы – лжеапостолы, вместо учителей – лжеучители, и когда законы здравые вкоренились – растленные супостаты всюду плевелы всеяли». Так же и с книгами, в которых много человеческой хитрости и лести.

Только глубокое исследование Священного Писания позволяет избежать заблуждений, распространенное же неведение его губительно. Здесь Артемий вполне согласен с реформацией (не вступая, впрочем, в прямой конфликт с официальной позицией православной церкви). Более того, он принципиальный противник веры «ради чудес»: «Ибо истинная вера от Священного писания, а не от чудес познается». Чудо само по себе ни о чем не говорит, в конце концов, чудеса и знамения свойственны и лжепророкам. Чудеса, знамения, пророчества, откровения, нетленные много лет мощи – все это «бесовские действия», если они не подтверждены совершенным следованием господним заповедям и плодами духа. «Не всяк, пророчествуя, преподобен, не всяк, бесы изгоняя, свят, но как Господь научил, сказав: от плодов их познаете их. И если некоего человека найдем благочестивого жизнью, просвещенного разумом, творящего господни заповеди по свидетельству божественных писаний,

способного отличить лучшее от худшего и пекущегося ежечасно не о сей жизни, но о будущей... говорящего от избытка сердца – такой творит или не творит знамения – воистину свят есть, потому что действие Святого Духа в нем познается больше всех знамений и чудес! И хулящие такого ради его смиренной жизни – самого Святого Духа хулят, по Василию Великому: не подобает унижать действующего благодатью Божиею в любом даровании, глядя на его бедность».

Артемий, как видим, решительно отдавал предпочтение нравственному совершенству перед внешней атрибутикой. С этой позиции он взялся за острейший вопрос своего адресата: «О различии учителей и как тех слушаться подобает?» Вопрос этот прямо касался духовной власти, но заволжского старца не испугал, а обрадовал: «И о сем добре вопрошавши! – пишет он, – ибо каков учитель, такие бывают в большинстве ученики его... и слеп слепа если поведет – оба в яму упадут, и свет миру учитель глаголется, и соль земли, и прочее». Нам с вами в XX веке значение вопроса об идейном наставнике понятно еще более. Как же решал его Артемий? На мой взгляд, весьма поучительно.

Опираясь на авторитет Василия Великого, проповедник указал, что ученики должны знать Священное писание и постоянно согласовывать с ним слова своего учителя, то есть они должны исследовать истину, а не следовать за вождем. Двумя способами можно отличить волка в овечьей шкуре: по учению его и по жизни. Нет, Артемий не призывает к сопротивлению церковным властям, по крайней мере открытому. «Если мы видим священника, – пишет он, – ведущего нечистую и зазорную жизнь, хотя и праведно проповедующего евангельскую заповедь... не следует отказываться причащаться от руки его... благодать действует и недостойными».

Но если священник неправедно учит – не следует уклоняться вслед за ним от истины. «И если такой проклинает или не благословляет – не будем печься о том, поскольку суд Божий тому не последует, по божественному Дионисию (Ареопажиту. – А. Б.). Тот пишет: прокляты уклоняющиеся от заповедей твоих, а не от человеческих преданий... Если кто учит не по заповеди Господней... желая быть хвалимым людьми и всем угодить, – по этому познается ложный учитель, учащий не от божественных писаний, но от своего умышления, по чьему-то желанию».

У тех, кто внимал Артемьевой проповеди, вряд ли могли быть сомнения в том, что он обличает иосифлянских богословов, состоящих на службе единодержавной власти и богатой церкви, противопоставляя церковным иерархам заволжских аскетов, стремящихся возродить чистоту раннего христианства. Того, кто учит от Священного Писания, утверждал Артемий, «если даже он нищ и неизвестен, достоин слушать: Божие глаголет, а не свое. Если же кто учит противно Богу, то есть покушаясь исказить его заповедь, или осквернить ее добавлением запрещенного, или обкрадывать ее обычаями человеческими (например, владением селами, легко догадывался читатель) – то пусть такой будет в славе и великом сани, мерзок должен быть каждому любящему Бога... Такие, говорил (апостол Павел римлянам. – А. Б.), работают не Господу нашему Иисусу Христу, но своему чреву!»

Артемий утверждает, что нельзя просто повиноваться ни святителям, ни властям, ибо сказано: «Не будьте рабы человекам», то есть не будьте рабами в духовном смысле. Апостол «не еже рабом быти возбрани, но еже в человеческия послушати и на всяко дело благо готовом быти. Ни бо раб человеку таковий, но Богу. И владыка несвободен, – писал Артемий, – если не управит себя по Богу жить, поскольку раб есть греху. Что в том, что он царь, а не может себя освободить от пламени греха и потопа страстей?!» Современнику, помимо морального урока, трудно было не увидеть здесь обличение отечественного царя Ивана, действительно тонущего в море страстей. И особо значимо звучал в завершении рассуждения призыв апостола к человеческому разуму: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте мла-

денцы, а по уму будьте совершеннолетни». И в ином месте: «Хочу, чтобы вы были мудры во благо!»

После всех этих слов и у проповедника, и у читателей (да и у нас с вами) невольно закрадывается мысль о расплате за смелость. И действительно, Артемий переходит к вопросу о суде. Как понимать выражение: «Не судите, да не осуждены будете»? Логично было бы предположить, что Артемий истолкует его буквально, как отрицание всякого права на суд человека человеком. Но заволжский старец гораздо тоньше: не судить запрещает Господь, пишет он, а различает разные суды и суждения. Проповедник порицает крайние взгляды (распространенные, видимо, в нестяжательской среде), будто нельзя осуждать никого. А как же тогда устраниваться от зла? – резонно замечает Артемий. Невозможно отказать от спора, а следовательно, и от осуждения в области богословия, невозможно не отстаивать истину. Не следует лишь судить «прежде времени», присваивая себе право решать человеческую судьбу.

«Возбраняет же апостол судить друг друга, – пишет Артемий, – в человеческих вещах, чтобы никто не осуждал по поводу еды, питья или праздника». Следует лишь уклоняться от злых обычаев мира, уводящих от спасения души: «Что за пользу получит человек, – говорит автор словами апостола, – если весь мир приобретет, душу же свою погубит или даст измену за душу свою?» «Имея пищу и одежду, – призывает Артемий адресата и его братию, – этим довольны будем. Хотящие богатеть впадают в напасти и похоти многие, коие погружают человека в мятеж и погибель. Ибо корень всему злу есть сребролюбие, говорит божественный апостол. Усердно последуй божественным писаниям и их словами, как живой водой, напой свою душу, и старайся насколько возможно действовать по ним. И обличать обидящего, – возвращается Артемий к теме суда, – надо благовременно, не страстью своего отмищения, но желанием братнего исправления».

Автор не напрасно затеял этот разговор, поскольку среди заволжских аскетов появились крайние воззрения. Их носители считали необходимым жить в абсолютной чистоте и воздержании, принципиально осуждали брак, заставляли братию жестоко ограничивать себя в еде и питье, утверждая, что только так можно спасти душу. Артемий видел в этом отклонение от гуманистических идеалов христианства и не мог не вступить в спор с братией.

Для монахов, давших обет чистоты, брак запрещен, пишет он, ибо это значило бы нарушение Божьего обета, осквернение возводимого в душе храма. И все же «лучше жениться, чем разжигаться похотью». Для мирян брак законен, по апостолу: «Честен брак и ложе нескверно. Только блудников и прелюбодеев судит Бог». Лгут и лицемерят те, кто требует ограничивать себя в еде. По Евангелию всякое создание Божье хорошо, нет ничего, что было бы плохо само по себе; только тому, кто помышляет о чем-либо скверно, – тому-то и вправду бывает скверно. «Не нечисто Божие создание, но мы немощны». Недаром в правиле апостольском сказано: «Если кто брака, и вина, и мяса отрицается не ради воздержания, но гнушаясь – да отлучится». Очевидно, что «не пища зло и питье, зло – объедение и пьянство, не женщина зло – но блуд».

Духовная сторона жизни в проповеди Артемия, безусловно, превалирует над внешним благочинием. И в отношениях между братьями монахами он требует ни на миг не забывать главную заповедь любви к Богу и ближнему. «Некушающий чего-либо кушающего да не осуждает, и кушающий некушающего да не укоряет... И еще: блюдите, чтобы власть ваша не была преткновением немощным. Да не погибнет немощный брат в твоём разуме, когда за него Христос умер!.. Если из-за еды твой брат скорбит, то ты уже не в любви ходишь: царство Божие ведь не еда и питье, но правда, мир и радость о Святом Духе». Христос «не заповедь положил есть или не есть, но всюду учил стремиться к благу ближнего», будь то еврей, грек или христианин, «ища не свою пользу, но многих, да спасутся». Понятно, что,

если твое поведение служит соблазном более слабому духом, воздержись. Лучше вовеки не есть мяса, чем брата своего соблазнить.

В заключение Артемий подчеркивает различие между «законным писанием», которое следует изучать и почитать: Библией (с деяниями и посланиями апостольскими), трудами Св. Отцов, апостольскими и соборными правилами (не всеми, но согласными со Священным Писанием), – и литературой людского домысла (например, житиями, где описана девственная жизнь святых в браке, что не может быть правилом). Заменяйте словопрение о внешних обычаях мудрым познанием Божьего закона, призывает Артемий заволжских старцев и всех, кто мог прочесть его послание, и живите достойно Евангелия!

Проповедь Артемия, порождавшая «неуправляемых верующих и явственно направленная против обычаев иосифлянского духовенства, завоевывала все большую и большую популярность. Дошла она и до царя Ивана Васильевича, еще не получившего прозвания Грозный и проявлявшего в это время особое рвение к религии (под влиянием жены Анастасии и духовника Сильвестра). При подготовке Стоглавого собора в начале 1551 года старец Порфирьевой пустыни был вызван в столицу. Он не участвовал в работе открывшегося 23 февраля собора, но охотно высказал царю и написал для собора свое мнение, в том числе о церковном землевладении: следует «села отнимати у монастырей».

Во всей истории с вызовом Артемия явственно чувствуется рука протопопа Сильвестра, занимавшего довольно сложную политическую позицию и входившего в правительство компромисса. Так, по приезду Артемий не был сразу допущен к государю и именно Сильвестр получил якобы задание Ивана IV «смотреть в нем всякого нрава и духовной пользы». Протопоп должен был убедиться, что заволжский старец не станет его противником в духовном влиянии на царя, и во время беседы действительно не обнаружил у Артемия опасного честолюбия. «От уст Артемьевых учения книжного довольно мне показалось, – заявил Сильвестр, – и доброго нрава и смотрения исполнен был». К этому отзыву присоединился союзник Сильвестра поп Благовещенского собора Симеон.

В результате Артемий был допущен до беседы с царем. Полагают, что его рассуждения повлияли на формулировку Иваном IV девяти вопросов из тех, что царь поставил перед участниками собора<sup>[3]</sup>. Общение царя с Артемием, по замыслу Сильвестра, помогало уравновесить сильную позицию правого крыла стяжателей, позволяя самому протопопу, по обыкновению, лавировать близко к центру, не подставляя себя под удар. Однако закрепление влияния на царя такой сильной, хотя и не честолюбивой личности, как Артемий, не входило в планы Сильвестра. После единственной аудиенции заволжский старец смог только написать царю письмо (несохранившееся). Не сохранилось и его послание участникам Стоглава, завершившегося, как известно, компромиссом в пользу иосифлянского духовенства.

Неожиданно было последовавшее после собора назначение Артемия на вакантное место настоятеля крупнейшего и богатейшего Троице-Сергиева монастыря. Интерес протопопа Сильвестра, выбивавшего у иосифлян важную должность, понятен. Сложнее понять мотивы нестяжателя, согласившегося возглавить братию одной из наиболее стяжательских обителей «по братскому прошению и по государеву велению».

Однако Артемий согласился на столь значительную жертву не без условий. Прежде всего, к нему в монастырь был переведен выдающийся литератор и просветитель Максим Грек, находившийся после вторичного осуждения (за критические высказывания) в заточении в Тверском Отроче монастыре. Источники прямо говорят, что царь с согласия митрополита освободил Максима «по упрощению Троицкого Сергиева монастыря игумена Артемия» и дал престарелому писателю «место покойно... у живоначальной Троицы... у любезного твоего друга архимандрита Артемия». Благодаря этому заступничеству Максим Грек прожил оставшиеся годы (он скончался в 1556 г.) «в великой чести и похвале»<sup>[4]</sup>.

Именно у Артемия нашел пристанище близкий к нестяжателям бывший московский митрополит Иоасаф. Наконец, по ходатайству Артемия был назначен игуменом знаменитого суздальского Спасо-Ефимьевского монастыря блаженный Феодорит. Эти факты случайно получили отражение в источниках, и, вероятно, заступничество нового троицкого настоятеля за гонимых было значительно шире.

Артемий, разумеется, понимал, что ставит себя под удар, но отказываться от своих убеждений не собирался. Как выяснил советский историк С.М. Каштанов, за те полгода, которые Артемий продержался на посту настоятеля, Троице-Сергиев монастырь не принял ни одного земельного вклада, не совершил ни единой мены или купли. Легко понять ненависть к новому настоятелю, разгоравшуюся среди привычных к стяжанию и вольготной жизни монахов. Артемий был буквально окружен шпионами, ловившими каждое его слово и строчившими доносы. Опасность исходила и от братии, и от высшего иосифлянского духовенства, и от «друзей», уговоривших Артемия принять должность, а ныне осуществлявших превентивные меры против возможного роста его влияния на царя. Протопоп Сильвестр и поп Симеон донесли Ивану IV на ученика Артемия монаха Порфирия, что он говорит еретические речи, а царь с этого времени «во учители его Артемьи начал примечать по наречию», то есть подозрительно относиться к словам троицкого настоятеля, которого только что «зело любил и многажды беседовал» с ним.

Сохранившееся среди сочинений Артемия «Послание к царю Ивану» очень хорошо показывает положение, в которое попал настоятель Троице-Сергиева монастыря. Он отвечает на бранчивую, по обыкновению, царскую грамоту, содержащую плохо скрытый упрек и пугающую адресата поступившими на него доносами. Ответ Артемия смел и прям. «Совершение закону есть любовь, она закон весь и пророков содержит». Гордец, отвергающий этот закон, никакими делами не достигнет спасения, ибо Христос требует веры, а не труда. Артемий поучает царя, что есть правая жизнь, о которой «Божественное писание всюду вопиет», и правая вера, благодаря которой человек «внутри себя обретает Бога».

Для испытания стойкости людей в вере всегда являлось множество «хульных и нечестивых уст», клеветующих и приписывающих себе божественный разум. Надо идти мимо них – и они сами исчезнут без следа, разве в проклятии людей, увидавших безумие их, сохранится память о желавших «упразднить веру Божию своей самозаконной лестью». Истине противятся люди, растленные умом, не познавшие веру, имеющие ее мертву или недействительную, а скорее, только мнящие себя верующими.

Посмеявшись над теми, кто хочет заменить солнце тусклым огнем своей необразованности, рассчитанной на прельщение «неутвержденных душ», Артемий переходит к критике высказывания самого царя, порожденного, по его мнению, нашептыванием подобных лжеучителей. Иван IV «хотел бы уведать: как, читая Божественное писание, многие прельщаются в растленную жизнь или уклоняются в разные ереси?»

«Неправда! – отвечает Артемий. – Не от книжного писания прельщаются... но от своего неразумия и зломудрия». Разумное чтение никогда не приносило вреда, но и возникающие иногда заблуждения нельзя сразу объявлять ересью. «Еретиком человека в первый и второй раз не называй, ведай, что кто совратился и согрешает, тот самоосужден», его наказывает собственная совесть, он «сам не рад, поскольку по пути смиренных не захотел идти, но тщеславием усладился, родителем гордости».

Это был прямой вызов иосифлянам, жесточайше преследовавшим еретиков и требовавшим от светской власти беспощадного уничтожения инакомыслящих. Артемий не боялся показать, что понимает, откуда дует ветер. «И святителю, – пишет он, – не следует опускаться до невежествующих и заблудших, но в кротости наказывать. Это еще не еретичество, если кто от неведения в чем усомнится или слово просто скажет, желая найти истину, особенно о догматах или обычаях. Никто еще не родился разумным, но каждому слову необходимо

учиться... от учения бо разум прилагается; недаром говорится о святых людях, что до самой смерти учиться подобает».

Обращаясь к царю, Артемий просит его учитывать несовершенство человеческого ума и не спешить гневаться на кого-либо, «но как подобает православному царю с Христовой правостью, кротостью и осмотрительностью делать все». Если стяжатели стремились представить малейшее разногласие как покушение на церковь и на Самого Бога, то Артемий утверждал: «Бог досаждаем не бывает; как говорит божественный апостол, что сеет сам человек, то сам и пожнет». Виновным можно признавать только того, кто явно говорит против истины и не желает слушать никакого убеждения. Но и здесь автор призывает по-христиански «исправлять согрешающих духом кротости».

Что же касается «наших ложных клевет», то здесь Артемий бескомпромиссен. Он требует у царя праведного суда, «поскольку ты, православный царь, правду любить обещался Богу. Потому я и писал тебе, объявляя свое мнение. И если, государь, в чем погрешил я с моей точкой зрения, вели объявить мне, испытав перед собою божественным писанием, может быть не согласен мой разум с разумом святых отцов? Тогда я рад каяться и прощения просить. И если, государь, как говорят многие, ныне нельзя жить по Писанию – пусть укажут нам, почему нельзя?!»

Артемий называет себя «грешником», однако его смирение перед человеческим судом весьма условно. Недаром он вспоминает о Христе, который был готов пострадать: но горе тем, в руки которых предается страдалец! «Тебе, православному царю, – пишет Артемий Ивану IV, – недостойно предавать меня (казни) на основе неверных и ложно составленных клевет. То, что ныне мнится неведомо, – пророчески замечает проповедник, – со временем будет явственно, и ныне это разумные понимают». Бог «видит ловцов, севших вместе с богатыми в засаду, чтобы убить неповинного».

Доносчиков Артемий глубоко презирает, а в монашеском общежитии подслушивать и передавать чьи-либо слова вообще считает беззаконием. Но чтобы вывести их на чистую воду, требует: «Вели, государь, тем под присягой сказать то, что тайно тебе говорили». Праведный суд – божественное установление, и того, кто его не блюдет, не спасут ни службы, ни посты, ни прочие ритуалы.

Впрочем, по главному вопросу, реально стоящему за всевозможными мелочными доносами на Артемия, он хочет объясниться с царем, не дожидаясь суда. Артемий подтверждает, что он против того, чтобы монастыри владели селами – огромными накопленными ими земельными богатствами. Это его личное мнение, высказываемое открыто, однако он никогда никого не заставлял отказываться от владений насильно. Возможно, что-то Артемий говорил несвоевременно – чтобы монахам «жить своим рукоделием и у мирских не просить» – «но я истину говорил»!

В конце 1551 – начале 1552 года Артемий ушел из Троице-Сергиева монастыря в Порфирьеву пустынь, чтобы жить трудом своих рук и не видеть, как стяжательствующее монашество эксплуатирует массы крестьян. Из Заволжья старец пишет царю Ивану новое, еще более смелое послание. Российскому коронованному самодержцу, жившему в атмосфере постоянных и непомерных превозношений, Артемий сурово указывает на существование истин, безмерно превосходящих власть любого государя.

Мы лучше всего пойдем суть взглядов Артемия, если сравним его сочинение с посланием протопопа Сильвестра, написанным в 1550 году, во время его наибольшего влияния на царя<sup>[5]</sup>. У Сильвестра было не продажное перо, готовое хвалить и славословить когда и что угодно, им руководили острая мысль и сильная воля. И все же время было сильнее. Из-под пера Сильвестра текли уверения, что царь «Богом поставлен, и верой утвержден, и огражден святостью, глава всем людям своим, и государь своему царствию, и наставник крепок

людям своим, и учитель, и ходатай к Богу». Именно он своей душой отвечает за благополучие всего царствия и благоверие его населения. Именно он обязан пресечь инакомыслие, ибо «в твоей области, – писал Сильвестр, – православные веры толико множество божиих людей заблудиша», процвели «ненависть, и гордость, и вражда, и маловерие к Богу, и лихоимство, и грабление, и насилие», и прочие грехи. Назначение царя – защитить православную веру, «знать Господа и творить суд и правду посреди земли», сочетая (неведомым образом) правду, кротость и неумолимость к врагам православия, в число которых автоматически попадали и еретики, и собственные «лихие люди», и «страны поганские». Даже призывая царя к нравственному усовершенствованию и борьбе с моральными пороками (в том числе с «содомским грехом», весьма свойственным царю Ивану), Сильвестр нисколько не сомневается в его праве определять и карать «заблудших».

Артемий же считает, что царю прежде всего не мешало бы познать истину. Довольно кратко поблагодарив Ивана IV за то, что он заступился за него против клеветников (и отметив, что считает недостойным радоваться их падению), заволжский старец пишет, что, «поскольку оскудели ныне духовные наставники, хочу подвигнуть твою царскую душу на изучение смысла божественных писаний – писаний истинно божественных», а не новомодных мнений. Ведь многие «говорить дерзают так: “Не нужно ныне по Евангелию жить!” И от некоего епископа я, – пишет Артемий, – слышал: “Не получится ныне по Евангелию жить – род ныне слаб!” И такими растленными учениями и словами прельщаются многие».

Проповедник восстает против мнения современных ему церковных учителей, которые сами, будучи незнающими, «хотят, чтоб и прочие остались необразованными, чтобы необличенной оставалась их злоба». Они уверяют народ, что «грех простым людям читать Апостол и Евангелие», – так что многие боятся эти книги и в руки взять. Они говорят: «Не читай много книг, а то в ересь впадешь!» Если кто-то лишится рассудка, про него говорят: «Зашелся в книгах!» Наконец, про подвижников, стремящихся преуспеть в любви к премудрости, говорят: «Многие книги их в неистовство приводят!»

Между тем именно от невежества происходят всякие ереси, прелести бесовские и растленная жизнь, от него принимаются ложные книги, и монашеские басни, и уставы растленных умом людей, считающих приобретение корыстей благочестием. Если бы не разумел я твоего разума, пишет Артемий царю, не отважился бы поучать тебя. «Но если ты весьма верен и имеешь теплую любовь к Богу, неужели ты уже достиг совершенства?!» Его и святые в этом мире не достигли. «Ты скажешь: я царь и занимаюсь устройством людей. – Это похвально, если по Давиду царство устроишь. И он был царь, как и ты, только в Израиле, и пророческого дара удостоился не зря, но прежде постоянно изучая закон Господень...

– Ибо сначала нужно понимать, а потом уже исполнять Господни заповеди, не прислушиваясь к развратным богокорчемникам и хриstopродавцам, особенно в наше время, когда животное мудрование всюду превозмогает... Но и их не следует преждевременно изничтожать. Учить следует, а не мучить!...»

Итак, никому не стыдно учиться, а царь учиться просто обязан. Артемий похвалит Ивана за грамотность и рекомендует прочитать давно посланную ему книгу, которую старцы Кирилловского монастыря взялись передать с оказией, да якобы «забыши» (а на самом деле отдали благовещенскому попу Симеону). Очень полезно было бы прочесть беседы Иоанна Златоуста. «И если хочешь проникнуться истиной, прочти со всяческим прилежанием просветительную книгу Василия Великого, не житие его, а его собственной руки писание... И не один раз прочти, не дважды, но многожды и не поверхностно. Если чего-то не можешь понять – молись Богу, чтобы вразумил тебя. Не стесняйся неведением, со всяким старанием расспроси знающего. Подобаает ведь учиться без стыда, как и учить без зависти. Не научившись, никто не может что-то понимать... Там (в книгах. – А. Б.) все искомое тобой найдешь и будешь искусен слову правды. Насколько ты велик – настолько смирай себя!»

О том, что царь должен быть «смирением сердца укреплен», писал и Сильвестр, желая упрочить свою власть над духовным сыном. Артемий расходится с Сильвестром и в этом пункте, ибо призывает самодержца, во-первых, не считать себя средоточием истины в последней инстанции, во-вторых, учиться лично и «писанием проверять от учителей говорящееся». Проповедь Артемия должна была вызывать недовольство не только у высших кругов церкви, но и у опасующихся за свое влияние царских приближенных, тем более что слава заволжского старца на Руси росла.

Приходившие в Москву странники, писал участник событий, «хвалили Артемия, что его насильно царь-государь на игуменство взял, а он того избегал... не хотел славы мира сего. Побыл он на игуменстве и видит, что душе его не на пользу игуменство, и потому игуменство оставил, прислушавшись к себе, чтобы от Бога не погибнуть душой, совершать Христовы заповеди евангельские и апостольские, от своих рук питаться, обеспечиваться пищей и одежей». Многим такое поведение Артемия «показалось добро», и в Москве его хвалили, не зная, что приближают расправу над вольнодумцем.

Иосифляне не могли допустить продолжения проповеди старца и разговоров о том, что он «царя не послушал и отошел в пустыню от того великого монастыря из-за мятежных и издавна законопреступных любостязательных монахов». Недоволен был и Сильвестр. Не сразу, но постепенно наветы на Артемия разожгли злобу Ивана IV, который теперь уже, по словам А.М. Курбского, «ненависть на него имел, что не послушал его и не хотел быть на игуменстве в монастыре Сергееве». Нужен был только повод для предания Артемия суду – и такой повод был создан с обычным для властей искусством.

Летом 1553 года обнаружилось, что в Москве «прозябе ересь»<sup>[6]</sup>. Дело в том, что протопп Сильвестр узнал о планах главы Посольской избы И.М. Висковатого и стоявших за его спиной Романовых избавиться от слишком влиятельного царского духовника, обвинив его в ереси. Обвинение планировалось не прямое. Главный удар предполагалось нанести по небогатому дворянину Матвею Семеновичу Башкину, чересчур вольно рассуждавшему о богословских вопросах и даже собравшему вокруг себя вольнодумный кружок. Поскольку Башкин нередко разговаривал с благовещенским попом Симеоном (это был его духовник), а тот сообщал о его словах Сильвестру, на последнего падало подозрение в сочувствии Башкину, которого вспыльчивому и крайне боязливому Ивану IV могло оказаться более чем достаточно.

Сильвестр сумел опередить своих противников и в июне 1553 года сам донес царю «о новоявившейся ереси» Башкина. Обвиняемый был схвачен и брошен в подвал на царском дворе. Следствие над ним было поручено двум видным иосифлянам, врагам малейшего вольномыслия, стремившимся любой ценой добиться «нужных» показаний, в частности против Артемия. Сообщником Башкина объявил Артемия и Висковатый. Опоздав со своим доносом, он 25 октября перед царем и боярами обвинил вместе с Башкиным Артемия, Сильвестра и Симеона, а в ноябре подал Ивану IV докладную записку с перечнем «преступников». Висковатый заявлял, что уже давно «с Башкиным брань воздвиг, слыша от него новые ругательные слова на непорочную нашу веру христианскую». Однако не докладывал властям, «сильно ужасаясь и боясь лести и всякого злокозньства, потому что Башкин с Артемием советовал, а Артемий с Сильвестром, а поп Семен Башкину отец духовный». Чтобы крепче привязать к своим обвинениям Сильвестра, Висковатый объявил еретическими иконы и всю роспись Благовещенского собора, сделанные под наблюдением протопопа. Здесь, однако, он перегнул палку, ибо дело о «новых» иконах задевало уже все руководство Русской православной церкви.

Сильвестр вновь выпутался, с помощью митрополита Макария заставив Висковатого покаяться. 14 января 1554 года митрополит и освященный собор наложили на незадачли-

вого доносчика епитимью (церковное наказание). Однако вслед за Башкиным Сильвестр и Симеон принесли в жертву монаха Порфирия, ученика Артемия. Стремясь доказать свою бдительность к ереси и откреститься от заволжского старца, они донесли, что его ученик вел в 1551 году сомнительные речи. Более того, Сильвестр и Симеон по памяти записали слова Порфирия и представили как обвинительный материал царю и освященному собору, собранному против Башкина<sup>[7]</sup>. Обвинение ученику фактически было обвинением учителю – Артемию.

Еще более коварный ход против Артемия предприняли иосифляне, вызвав его в Москву якобы для того, чтобы «говорить книгами» с Башкиным<sup>[8]</sup>. Артемий с сопровождавшими его монахами (в том числе с Порфирием) приехал и остановился в Андрониковом монастыре. Он быстро понял, насколько благоразумнее оказался Максим Грек, отказавшийся приехать в Москву, чтобы не стать жертвой нового церковного процесса. Речь шла не о «разговоре книгами», не о дискуссии, а об уничтожении инакомыслящего. «Ино то, деи, не мое дело», – говорил Артемий своему ученику Леонтию, оказавшись перед необходимостью либо выступить обвинителем, либо стать жертвой обвинения. Артемий знал, что на него самого «наветуют», «будто он не придерживается христианского закона»; до него доходили слухи, что против него говорит и Башкин.

Так оно и было. Сломленный ужасными пытками, Матвей Башкин вначале едва не лишился рассудка, «язык извеса, непотребное и нестройное говорил многие часы, и потом в разум пришел... и потом начал каяться... и свое еретичество, и хулы, и своих единомышленников написал своей рукой... и потом начал своих единомышленников перед царем на соборе с очей на очи обличать». Среди прочих Башкин приписал «многие богохульные вины» бывшему троицкому игумену Артемию.

Верный своим убеждениям, Артемий не мог спастись, обвиняя другого человека, и, как сам не раз советовал в своих письмах, решил отойти от творящих зло, не спорить со «лжесловесниками». Он молча собрался и ушел из Москвы в Порфирьеву пустынь. Этот демонстративный шаг дался Артемию нелегко; он понимал: теперь его могут обвинить в том, что, чувствуя свою вину, он бежал от суда. «Я не ведаю, как быть», – говорил он своему келейнику Леонтию перед уходом.

Худшие предположения Артемия оправдались. Его быстро выследили, схватили в Порфирьевой пустыни и вместе с другим монахом-нестяжателем, Саввой Шахом, заковав в кандалы, повезли в Москву как преступников. Новоявленного еретика должен был судить церковный собор во главе с митрополитом Макарием. В нем принимали участие видные деятели церкви: архиепископ Ростовский и Ярославский Никандр, епископы – Суздальский и Тарусский Афанасий, Рязанский и Муромский Касьян, Тверской и Кашинский Акакий, Коломенский и Каширский Феодосии, Сарский и Подонский Савва, а также архимандриты, игумены, протопопы столичных монастырей и церквей и случайно оказавшиеся в Москве лица из других городов. Подавляющее большинство судей (хотя, как мы убедимся, не все) принадлежало к лагерю иосифлян и было заранее уверено в вине своего идейного противника.

Вот как четко и определенно оценил состав и цели суда над Артемием выдающийся русский полководец и публицист князь Андрей Михайлович Курбский: «Любостязательные и всякого лукавства исполненные монахи... оклеветывают преподобного и премудрого Артемия, бывшего игумена Сергеева монастыря... будто бы он был причастен и согласен с некоторыми люторскими расколами... Тогда вмиг царь наш с преюродивыми, отнюдь не искусными епископами, уверовал им и собрал соборище, отовсюду совлек духовных чиновников, и повелел привести из пустыни, оковавши, преподобного мужа Артемия, столь честного и премудрости исполненного, еще без очных ставок и суда... Ибо воздвигли гонения на того епископы богатые, любящие мирское, а также вселукавые и любостязательные монахи, чтобы не только не был в Русской земле этот муж, но чтобы и имя его не именовалось! При-

чиной было то, что прежде царь его зело любил и часто беседовал, поучаясь от него; они же боялись, что (Артемий) вновь в любовь царскую придет и укажет царю, что как епископы, так и монахи с начальниками своими живут законопреступно и любостязательно, не по правилам апостольским и святых отцев. Потому все это творили, замышляя и исполняя столь презлые дела свои на святых, чтобы покрыть злобу свою и законопреступления; потому тогда и других неповинных мужей помучили разными муками, научая клеветать на Артемия тех, кого добровольно не могли заставить: может быть, не стерпев мук, нечто произнесут...»<sup>[9]</sup>

Как обычно, картина церковного суда темна и во многом скрыта от глаз. Помимо свидетельства князя Курбского, мы располагаем кратким упоминанием о суде официозной Никоновской летописи (XVI века)<sup>[10]</sup>, соборной грамотой об осуждении Артемия, направленной в избранный местом его заточения Соловецкий монастырь, и двумя его собственными посланиями, характеризующими состояние духа писателя во время суда. Наиболее подробный источник – соборная грамота – откровенно тенденциозен. Обвинения против Артемия переданы подробно и полно, а его ответы обвинителям сокращены, местами вовсе опущены. Тем не менее и такой источник не мог скрыть факта моральной победы заволжского старца над своими судьями.

Используя имеющиеся у нас материалы, последуем вслед за закованным в цепи Артемием на антиеретический собор и попробуем приоткрыть завесу над происходившим в царских палатах, где вместе с духовными лицами заседал царь Иван, его родственники и бояре, обеспокоенные слухами о наводнивших страну страшных ересьях: даже между ними, в Кремле, ходил человек, хуливший Иисуса Христа, считая его ниже Бога Отца, Тело и Кровь Христову – Святые Дары – объявлявший простыми хлебом и вином. Матвей Башкин и его таинственные, но, конечно, многочисленные и страшные «единомысленники» отвергают саму церковь, утверждают, будто бы ее стройная иерархия – ничто, «только собрание верующих есть церковь!». Иконы они называют окаянными идолами, в покаяние перед священником не верят, утверждая, что если человек перестанет грехи творить – на нем греха и не будет. Злодеи считают сочинения и жития святых баснями, а про участников семи святых Вселенских соборов говорят, «что все ради себя писали, чтоб им всем владеть, и царским, и святительским»; Божественное Писание, кроме Евангелия и Апостола, кличут баснословием – и все это якобы совершенно достоверно подтверждается свидетельскими показаниями и собственноручными признаниями Матвея Башкина и его выявленных сообщников!

Подготовленным таким образом участникам собора было доложено, что некоторые единомысленники Башкина «запираются», не признаваясь в своих ужасных преступлениях перед православной верой. Такое вступление оказалось необходимым потому, что оговоривший Артемия Башкин на очной ставке не смог доказать «многих богохульных вин» заволжского старца. Конечно, протокол очной ставки, на которой «Артемий в тех богохульных винах неповинным себя сказывал» (и, по-видимому, говорил весьма убедительно), не был представлен собору. Это было невыгодно иосифлянам. В соборной грамоте отмечено лишь, что «о том писано в подлинном списке» (протоколе), до сих пор не найденном.

Вместо этого собору было подробно рассказано о бегстве Артемия от суда над Башкиным, причем показания давал Артемиев келейник Леонтий, который, как считает подробно изучавший эти события историк С.Г. Вилинский, «по-видимому, под сильным давлением со стороны противной партии взял на себя роль шпиона». Однако Артемий знал, что за ним давно следят, и был настолько осторожен даже с собственным келейником, что тот при всем желании не смог сообщить ничего серьезного.

Недостаток обвинительных показаний не смущал устроителей собора. Они уцепились за слова Артемия о «наветующих» (клеветущих) на него – и потребовали «дважды и три-

жды, чтоб (Артемий) наветующих поименно назвал» перед собором. Это было невозможно – ведь наветы делались тайно и нельзя было доказать, что именно тот или иной человек шептал на ухо митрополиту или царю. К тому же было весьма вероятно, что доносители сидели сейчас в составе судей на соборе. Удар был нанесен с тонким расчетом. Собор обвинил Артемия в том, что тот ушел из Москвы, точнее «сбежал безвестно», не очистившись от «наветов» перед царем и митрополитом. В подтексте явно звучала мысль, что, таким образом, заволжский старец косвенно признал правоту обвинений, к которым устроители собора и перешли.

Дальнейшие события показали, что справиться с писателем, позволив ему говорить, не так-то просто даже всей своре иосифлян. Артемий не был сломлен, как Башкин, и держался перед судом с редкостным в те жестокие времена достоинством. Когда, писал Курбский, «Артемий был истязай и вопрошен, он, как неповинный, со всякой кротостью отвечал о своем правоверии; лжеклеветников же, лучше сказать сикофантов (доносчиков), спросили о доказательствах – они представили мужей скверных и презлых. Старец же Артемий отвечал, что они не достойны свидетельствовать». Об отводе свидетелей обвинения соборная грамота не говорит ни слова, и далее ее составителям все чаще приходится использовать фигуру умолчания.

Иосифляне выпустили на арену своего верного пса, «наветчика главного, Нектария монаха, ложно клеветующего», бывшего ферапонтовского игумена. Тот сразу выложил собору целую кучу обвинений: 1) «Артемий ему говорил о Троице, что в книге Иосифа Волоцкого (непререкаемого авторитета для стяжателей! – *А. Б.*) написано нехорошо; 2) «Артемий еретиков новгородских не проклинает»; 3) он «латинян (католиков) хвалит»; 4) «поста не хранит – во всю čtyредесятницу рыбу ел да и на Воздвиженьев день у царя... за столом рыбу ел же».

По первым трем пунктам обвинения Артемий ответил так, что даже господствовавшие на соборе иосифляне не смогли его ни осудить, ни даже записать ответов в соборной грамоте. Только из ответа по четвертому пункту они смогли извлечь некоторую выгоду: опуская объяснение Артемия о преимуществе внутреннего поста перед внешним, ритуальным, они записали в грамоте, что обвиняемый действительно нестрого соблюдал пост. Хотя это был лишь факт его жизни, собор обвинил Артемия в сознательном «соблазнении» людей к нарушению «божественного устава и священных правил».

Видя малую результативность своих трудов, ретивый доносчик Нектарий продолжил «наветовать»: он утверждал, что «Артемий ездил из Пскова из Печерского монастыря в Новый городок немецкий (Нейгауз. – *А. Б.*) и там веру их восхвалил». Артемий объяснил, что хотел спорить о вере, чего православная церковь никогда не запрещала. Тем не менее его обвинили под нелепым предлогом, что католичество-де «от православной веры отречено и проклятью предано».

Нектарий и далее не унимался, возводил на Артемия «многие богохульные и иные еретические вины», но обвинения были, видимо, еще нелепее, так что в соборной грамоте они не записаны, а ответы Артемия сведены к заявлению: «...теми богохульными и еретическими винами Нектарий меня клевет, я того не говорил и во всех тех делах неповинен!» Войдя в раж, клеветник стал ссылаться на свидетелей, которые должны были подтвердить его слова. По навету Нектария на собор были вызваны монахи Ниловой пустыни Тихон, Дорофей и Христофор Старый, соловецкий старец Иоасаф Белобаев и суздальский архимандрит Феодорит Соловецкий (о котором соборная грамота не случайно умалчивает). Феодорит прямо обличил Нектария как бесчестного человека, лгущего на невинного. «Тогда, – пишет Курбский, – епископ суздальский, пьяный и сребролюбивый, в ненависти первый, заявил: Феодорит – давний согласник и товарищ Артемиев, он, наверное, и сам еретик, потому что с Артемием в одной пустыни немало лет прожил». Не испугавшись угрозы, Тео-

дорит стоял на своем. После собора он был лишен звания архимандрита и испытал в своей долгой подвижнической жизни еще немало преследований.

Показаний Феодорита не записали, но и другие призванные Нектарием свидетели единодушно заявили на соборе, «что они про хулы Артемия на Божественное писание и на христианский закон не слыхали ничего; и поэтому, – с грустью сообщает соборная грамота, – царь и великий князь не казнил Артемия, потому что Нектариевы свидетели Нектариевы речи не говорили». Чтобы как-то спасти лицо своего подручного, составлявшие соборную грамоту иосифляне внесли в нее бездоказательное, противоречащее предыдущему тексту заявление, будто участники собора «иных (каких?) свидетельств Нектария на Артемия не бросили, потому что Нектарий на Артемия иные (какие?) свидетельства привел».

Главный «доводчик» на заволжского старца ушел с собора с позором, но у иосифлян была еще целая обойма лжесвидетелей и шпионов. В основном их состав поставил конечно же Троице-Сергиев монастырь. Его бывший игумен Иона донес, будто Артемий «говорил хулу о крестном знамении, будто нет в нем ничего...». Обвиняемый отрицал свою вину, но судьи постановили «в том верить Ионе», не привлекая других свидетелей!

Затем троицкий келарь Адриан Ангелов донес, будто Артемий говорил еретические речи в Корнильеве монастыре, в келье игумена Лаврентия: «Петь панихиды и обедни за умерших – в том помощи нет, тем они муки не избудут». Зная, что собор все равно постановит «верить Адриану» (даже не пытаясь расспросить Лаврентия), Артемий не удержался от объяснения своих взглядов, отличных и весьма опасных для позиции (и доходов!) официальной церкви. Он говорил «про тех, которые жили растленной жизнью и людей грабили, – что когда после их кончины начнут петь панихиды и обедни, Бог тех приношений не приемлет», такие злодеи не спасутся от мук! Собор постановил, что, отнимая у богатых мерзавцев надежду откупиться от Страшного суда (а у церкви – деньги), Артемий впадает в ересь и должен быть наказан.

Третий троицкий монах, Игнатий Курачов подал письменный донос о слышанных им рассуждениях Артемия про канон Христу и акафист Богородице. Суть их, как пояснил Артемий (ибо из доноса ничего нельзя было понять), состояла в том, что многие молятся праздно, поют «Иисусе сладкий» – а исполнение Христовых заповедей считают горьким, поют «радуйся, чистая», – а сами чистоту не хранят. Это здоровое рассуждение, почти буквально повторяющее мысли Максима Грека, послужило поводом к обвинению, что Артемий «про Иисусов канон и про акафист говорил развратно и хульно!».

Отводя все новые и новые обвинения, Артемий считал необходимым скрывать свои взгляды. Так, кирилловский игумен Симеон письменно донес царю, что, когда «Матвея Башкина поймали в ереси, Артемий молвил: “Не знаю, что такое ересь; сожгли Курицына и Рукавого, и ныне не ведают, почему сожгли!”» На очной ставке Артемий отрекся от своих слов о казненных новгородских еретиках, но игумен Симеон представил свидетеля – монаха Никодима Брудкова. Артемий вынужден был сказать, что не помнит, «так ли про новгородских еретиков говорил; я-де новгородских еретиков не помню и сам не ведаю, за что их сожгли; наверное, я говорил, что это я не знаю причину сожжения и кто их судил, а не то, что они (судьи) не знали (за что казнят)».

Открывать собору в полной мере свои взгляды значило обречь себя на верную смерть. Артемий это отлично понимал и старался спасти себя и товарищей, многие из которых были схвачены и судимы на том же соборе (их «дела», к сожалению, не сохранились). Так, когда Артемия вели из Кремля в темницу, он увидел своего ученика монаха Порфирия, которого вели в другое место заключения. «Благослови, отче!» – воскликнул Порфирий, и Артемий, скрывавший связь с Порфирием, не мог отказать ему в благословении. Это было доложено собору и поставлено Артемию в большую вину, тем более что краткий разговор единомышленников оказался весьма многозначительным.

«Отстаивать ли мне крепко свои взгляды против судей?» – спросил учителя Порфирий. «Молчи, отче! – ответил Артемий. – Наше дело плохо, сейчас не время спорить, и я молчать готов». – «Я хочу все-таки стоять спорно», – сказал Порфирий. «Молчи!» – произнес Артемий, и узники разошлись.

Давая совет молчать, говоря, что ныне не время спорить, Артемий заботился прежде всего о товарищах. Об этом говорят два его обширных письма, написанных во время суда. Антиеретический собор длился долго, общение между подсудимыми сурово пресекалось, за ними тщательно следили. И все же, используя каждый удобный момент, закованный в кандалы и брошенный в темницу, старец урывками писал, ободряя и поддерживая товарищей по несчастью. Одно послание он адресовал группе заключенных, другое – сидящему отдельно человеку, надеясь, что они смогут обменяться этими «писаниями». На случай, если это не удастся, Артемий повторял основные мысли в обоих посланиях.

Имен или каких-либо примет своих адресатов Артемий ни разу не назвал, но для него лично письма, превратившиеся постепенно в обширные трактаты, представляли смертельный риск. Заполучив эти письма, освященный собор, безусловно, отправил бы автора на костер, как человека, с поразительной смелостью восставшего против господствующей церковной организации. Но Артемий руководствовался иными соображениями, чем личная безопасность: он выполнял свой моральный долг любви к ближнему, на деле воплощая проповедуемый им христианский идеал. Самые ранние из известных в России писем человека, судимого за убеждения, опирались на многовековую христианскую традицию и если не по форме, то по сути могли бы стать манифестом сотен тысяч будущих товарищей Артемия по несчастью.

Одно из писем Артемий начинает цитатой из Второго послания апостола Павла коринфянам (1: 1–7), просто и наглядно показывая товарищам значение их борьбы за истинное христианство. «Не хочу не видеть, братья, – пишет русский литератор, – что мы в скорби, что мы отягощены свыше сил и почти не надеемся жить. Но сами в себе мы несем отрицание смерти, ибо, не надеясь на себя, уповаем на Бога, оживляющего мертвых, который от совершенной смерти избавил нас и избавит, если есть воля его. Молитесь и вы за меня, ибо мне и жить с Богом, и умереть приобретение. Надеюсь, что не заставит нас Бог искувиться больше, чем сам подаст нам сил». Именно своим любимым детям, но не рабам Господь посылает многие муки, «они плачут – а мир смеется, они сетуют – а мир умащается, они постятся – а мир наслаждается; они днем трудятся и ночью себе на подвиг бдят, в тесноте, трудах и волнах скорби – а иные пребывают в трудах страстей своих; одни гонимы от людей – другие в бедах страстей от бесов; и сколько их было изгнано, сколько убито...». Никогда путь господней любви не был легким, на нем не найти покоя и сладкой жизни.

Испытания на пути правды неизбежны, и пострадать за нее – великое благо. Распятие и смерть самого Христа, страдания апостолов и мучеников – великие символы тернистого пути к спасению человека. «Путь Божий – крест повседневный есть». Так уж повелось, что борцов за правду, носителей истинных Христовых заповедей, мало, а последователей лжи много: «Если бы вы были от мира, – говорит Артемий товарищам словами Христа, – мир своих любил бы; а поскольку я избрал вас от мира к духовной мудрости – того ради ненавидит вас мир». Умерший за спасение людей Христос недаром призвал: «Не бойтесь убивающих тело!» Крещение мучением и кровью, которое принимают верные, по уверению Григория Богослова, гораздо значительней и выше простого крещения.

Физические страдания и страх смерти занимают Артемия меньше душевных мук, которые он стремится облегчить своим товарищам. «Бога ради, – просит он, – не оскорбляйтесь и никакого смущения не имейте в скорбях наших, случившихся нам». И в другом месте: «Молю вас, братья, не стыдиться случившихся нам скорбей и гонений. Это мнимое бесче-

стве – слава нам есть, неисповедимый Божий дар не только в Христа верить, но за него пострадать!» «Воззрите, как в древности страдали пророки и апостолы, лжепророки же были почитаемы подобно нынешним лжеучителям, говорящим в угоду (нужным) людям».

Заключенные ощущали мучительную несправедливость того, что их, христиан, судят в христианской стране, судит церковь, к которой они сами принадлежат и за которую готовы пострадать. «Не усомнимся о истине! – писал Артемий друзьям. – Хотя и христианами кажутся те, кто из-за слова Божьего мучает нас, – знайте, что плотское не приемлет духовного и не стоит удивляться им, глядя на самого Господа... который не от иноплеменников, но от родственных себе и представляющихся архиереями и книжниками предан был на смерть».

«А что говорите, будто обесчестили нас и пустили о нас злую славу, – это бесчестие есть слава наша и очищение недостатков наших... Помните, как великий Златоуст был дважды изгнан и назван еретиком теми, кто тогда, как и ныне, казался правочерными и высочайшими деятелями церкви, помрачившими свое душевное око. Знаем намерное, что ни отлучению, ни разрешению несправедному суд Божий не последует, по словам великого Дионисия Ареопагита». Также не следует отчаиваться, что осужденные, скорее всего, будут лишены церковного поминания (если не преданы проклятию). Бог не обидчив, утешает Артемий, и не забывчив, как человек: «Незабвенно от него все... Не забудем сказавшего: блаженны будете, когда возненавидят вас люди, и разлучат вас, и поносят, и отождествят имя ваше со злом... Если даже все осудят нас, как злодеев, и проклянут – это не беда для нас, остающихся православными христианами, более того, за слова Бога страдающими». В бесчестии от мира мы победим мир, до конца претерпев свой подвиг.

Между судьями и подсудимыми есть огромное моральное различие: одни олицетворяют собой силу Зла, другие отстаивают непобедимость Добра. Здесь, а не в богословской казуистике истинная суть конфликта. Не может быть никаких распрей в Христовой церкви из-за мудреных толкований, когда весь Божий закон совершается в формуле: «Люби ближнего, как самого себя». «Знает ваша мудрость, – пишет Артемий товарищам, – что никогда я не говорил и не сомневался в православной вере в святую единую Троицу, как некие лгут на меня. Слово мое всегда обращено к желающим спастись в заповедях Христовых, и то, что от невнимания к писаниям добавилось на утеснение жизни, я не одобряю». Но еще Христос предсказал ученикам: «Придет время, и всякий, убивающий вас, будет думать, что служит Богу. Так будут творить потому, что не познали ни Отца моего, ни Меня. Словами говорят, что исповедуют Бога, а делают наоборот. Мои, говорил (Христос), овцы слушают голос мой, вещающий: “Учитесь у меня, который кроток и смирен сердцем, а не суров и бесчеловечен, и согрешающих исправьте духом кротости, а не ранами и убийством, темницами и узами...”»

Нигде и никак, ни словом, ни знаком, ни лично, ни через апостолов не разрешал Христос мучить людей, пишет Артемий, подробно рассказывая товарищам о доброте сына человеческого и его апостолов, не свою искавших пользу – но многих, не губить людей пришедших – но спасти. Столь великого учения о любви и вытекающего из него самопожертвования «мир обычно не может вместить из-за неудобства их. Душевный человек не приемлет (человека) духовного, но считает за сумасшедшего. Потому пророки, прежде возглашавшие слово Божие, какие гонения от соплеменников приняли? Многие из них и уморены были различно, потомки же их (соплеменников) переполнили меру отцов и, премудрости Божьих тайн не ощутив, Господа славы распяли. Также и Стефана камнями побили, и самих апостолов изгнали. И после них бесчисленно оказалось мучеников за правду и за веру. Этого не довольно ли нам в утешение?»

Итак, по одну сторону находятся проповедники христианской любви к ближнему и гуманных заповедей – по другую мы «видим неких, не только не могущих слышать Божье слово, но умышляющих гонение на говорящих его и начинающих их убивать. Не говорят об

этом явственно, – пишет Артемий об иосифлянах, – но лицемерно прикрываются ложной клеветой», и объявляют, будто подсудимые в Христа не веруют, и приписывают им различные грехи. Если это верные христиане (на словах) – то почему они даже слышать слов Христа не желают? «Не явно ли здесь отпадение (иосифлян) от веры и прикрытие злобной зависти, от которой рождается убийство?! Притворным благочестием, делая вид, что отмщают за Бога, они свои страсти исполняют, поедая людей божиих вместо хлеба».

«Эти окаянные и непосвященные... не только не пребывают в христианском учении, но не могут ни слышать о нем, ни без мучений терпеть» блюдущих христианские заповеди. «Если и лгут Христовым именем, то им как овчиной прикрывают хищность внутреннего волка, видную по их делам». Антихристовым мучительством действуют над людьми церковные власти, пытками и гонениями желая «приводить в разум Божий. Но Господь велел учить, а не мучать непокаявшихся, как и слепых не мучат, но наставляют зрячие». В страшный грех впадают российские гонители на христиан и готовят себе ужасную участь, сея по земле зло.

«Вспомните, – пишет из темницы проповедник, – слова Христа: “Дерзайте, ибо Я победил мир”. Как же победил, – спрашивает Артемий, – может, оружием, или силой телес, или мучительством? Нет, не так! – Но благим злом победил!» И ваши мучения не напрасны, и мое страдание в язвах от железа не бесплодно – ибо мы отстаиваем в мире силу добра «и всем сердцем взываем заповеди Христовы. И да не уstraшены будем гонением мирских властей и проклятий избранных ими по своим похотям ложных учителей не убоимся; не прельстимся их лестными благословениями, богатыми трапезами и прочими уловками мира (которыми обычно увлекают темные не познавших света); но, неуклонно взирая на мужественную жизнь Иисуса, претерпим обрушившиеся напасти с радостью!»

Относительно участников освященного собора у Артемия к моменту написания писем не было никаких сомнений. Они «на убийство и изгнание устремляются царской помощью, как древние мучители, ничего иного не говоря, кроме как “еретик”, доказать же явственно не могут. Но, как у них в обычае, составляют ложные клеветы, и пишут неправды, и подкупают лжесвидетелей, и в качестве мзды обещают постыдную славу суетной их власти!»

Вместе с тем Артемий призывает попавших в беду «не возненавидеть творящих нам напасти», но, «насколько хватает сил, любить и молиться не только за изгоняющих, но и за убивающих... Постараемся, елико можем, побеждать благим злом!» «Иначе, – спрашивает проповедник, – если и на сожжение отданы будем, какая будет польза в крови нашей?» Очень уместно автор подкрепляет идею искупления словами апостола, готового своей душой поступиться за распявший Христа израильский народ: «Свидетельствую за них, что ревность Божию имеют, но не по разуму, не зная Божией правды...» Утверждением этой правды должна была стать и судьба Артемия с товарищами.

Прожитой жизнью и тем, что им еще осталось прожить, должны они неизменно утверждать истинное украшение Христовой церкви – соблюдение Господних заповедей, внутреннее духовное совершенство, противостоящее «растленному житию». Без него нет пользы ни от баснословных «нетленных» мощей, которым поклоняются, как идолам, ни от святых, которыми священники обманывают темных людей, будто бы кто-то может получить воздаяние на небе «ранее общего всем воскресения». При «растленном житии» душу не спасет «ни вера правая, ни пост, ни молитва, ни жизнь в пустыни, ни долгое бдение, ни телесное страдание, ни церковное многоценное украшение, ни красивое пение, ни какое-нибудь другое видимое благочиние... ни духовное дарование, ни даже самое мучительство!»

Столь решительное предпочтение духовной сущности религии внешней обрядности, по существу, сведение христианства к гуманистическим моральным принципам, резко отличалось от практики всех христианских церквей того времени. Это был протест человека против царившего в мире насилия, еще не принявший крайней формы (как у ученика Артемия

– Феодосия Косого и некоторых западных проповедников) и потому более опасный для господствующей церкви. Не надеясь на личное спасение, Артемий пытался по крайней мере спасти товарищей и вывести из-под удара основные идеи своего учения, которые, еще не получив широкого распространения, могли быть оболганы и осуждены собором. Литератор ощущал свою вину за слишком открытую и преждевременную проповедь, позволившую миру обрушиться на его идеи, боялся, что товарищи в горячности вынесут их на обсуждение собора, на съедение иосифлянам.

«Писано бо есть: время всякой вещи, что под небесами. А мы неосмотрительно духовные Христовы слова предложив плотски рассуждающим, страждем от них», – писал Артемий товарищам. Ведь наше учение оказалось «как солнечный свет нездравым очам, гром немощному слуху, как твердая пища тем, кто требует еще молока». Мы всегда готовы ко всякому ответу тем, кто ищет истину и вопрошает о нашем уповании с кротостью. Мы готовы, мысля самостоятельно и не принимая на веру ничего недоказанного, советовать друг другу и желающим учиться у нас, готовы спорить без ненависти, на общую пользу. Но пора извлечь урок из общения с борющимися против нас зложелателями, злобными в невежестве.

«Когда предательски поведут вас перед владыками и царем, – требует Артемий, – тогда не стремитесь излагать учение, но отвечайте, сколько позволят. В тот час помните слова Григория Богослова: «Когда будешь приведен к Ироду, лучше не отвечай, всяк Ирод плотский и не приемлет духовного!» Видите ли, – продолжал Артемий, – что не по-отечески и не по-братски, не желая исправить, спрашивают, но как волки, прикрывшись овчиной, ищут нечто уловить от уст наших!

Храните себя, чтобы не возненавидеть и не досадить им, пусть слово ваше будет растворено силой Христовой любви в благодати Святого Духа. Ведь и сами мы когда-то были неразумны, непокорны, обмануты. Помните нас самих прежнее состояние, каковы были, когда не понимали Господних заповедей и здоровое слово представлялось нам соблазном. Подумав об этом, не дивимся о судьбах Божиих...»

Эта мысль излагается Артемием в обоих письмах как особо важный совет, наряду с призывом «крепиться до конца». Его собственное смирение было, как видим, весьма относительным (на что он сам несколько раз сетовал), и при всей любви к ближнему церковные иерархи определенно выглядели в его глазах лжепастырями, а царь – Иродом. Однако нельзя не заметить, что изложенная в письмах позиция выглядит весьма благородно, а советы товарищам – разумно.

Смелые (а по тем временам – невероятно смелые) письма Артемия, рискующего умереть в лютых мучениях, лишь бы морально поддержать товарищей, не попали в руки иосифлян. Но к концу церковного процесса те нащупали слабое звено в самозащите заволжского старца, более всего боявшегося подставить под удар другого человека. Это обстоятельство судьи ловко использовали.

Из скудных сообщений соборной грамоты можно догадаться, что Артемия подробно расспрашивали, как он со своими взглядами согласился возглавить Троице-Сергиев монастырь. Подсудимый откровенно отвечал, что не хотел этого, но испытывал сильнейшее давление (ведь такова была воля царя!). Стараясь избежать назначения, он даже «отцу духовному сказывал свои блудные грехи», но тот отказался их выслушать, заявив: «То переступи». Поступив столь предусмотрительно в угоду царю, духовник на соборе отказался от своих слов, а Артемий, слишком поздно увидев, что из его рассказа делается донос, решил отступить, заявил, что говорил с другим попом, имени которого не назвал и был, разумеется, обвинен как самолично признавшийся в блудном грехе и пытавшийся оболгать духовного отца.

Развивая этот успех, митрополит Макарий лично выступил на соборе с провокационной речью, излагая еретические взгляды Матвея Башкина и требуя от Артемия их осуждения. Даже в сжатом и, вероятно, искаженном изложении соборной грамоты духовное сопротивление митрополита и монаха сохраняет свой драматизм и поучительность. Подсудимый Артемий не только отказался встать в ряды гонителей Башкина, уже покаявшегося в ереси, но, рискуя быть обвиненным в единомыслии с «явным» преступником, мужественно поднялся на его защиту. Собор официально определил, что это усугубляет вину Артемия. Мы же приведем этот эпизод полностью как памятник победы человеческого духа над бесчеловечной машиной подавления инакомыслящих.

«Говорил митрополит Артемию: Матвей Башкин совершал еретические дела, отделил едиnorodного Сына от Отца и именовал Сына неравным Отцу. Говорил Матвей так: Если нагрублю Сыну, то на Страшном суде Отец может избавить меня от муки, а если нагрублю Отцу – Сын не избавит меня от муки. И молился Матвей одному Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил. И иные хулы Матвеевы говорил митрополит Артемию, что во всем в том Матвей кается и все свои дела на соборе обнажил.

Артемий на соборе по этому поводу молвил: Все это ребячество, Матвей и не ведает того, что делал своим самосмышлением. А в Писании того не обретається и среди ересей того не написано!

Митрополит сказал: Прежние еретики не калялись – и святители их проклинали, а цари осуждали, заточали и казням предавали!

Артемий молвил: За мной посылали судить еретиков – и мне не судить еретиков так, чтобы казни предать. Да ныне еретиков нет и в спор никто не говорит.

Да митрополит же говорил: Написал Матвей молитву к единому началу, написал одного Бога Отца, а Сына и Святого Духа отставил.

И Артемий молвил: Зачем было ему это врать? Ведь к Вседержителю есть готовая молитва Манассии?!

Митрополит молвил: То было до Христова пришествия, а кто ныне так напишет к единому началу – тот еретик.

Артемий ответил: Та молитва Манассии написана и в Большом нефимоне, и говорят ее (она действительно была вполне ортодоксальна, чего иосифляне не знали по необразованности. – А. Б.).

И митрополит говорил Артемию: Будешь еси в чем виновен – и ты кайся!

Артемий сказал: Я так не мудрствую, как на меня говорили, все это на меня лгали. Я верую в Отца и Сына и Святого Духа, в Троицу единосущную».

Поведение Артемия, еще более разжегшее злобу его врагов, оказало и положительное влияние на участников собора. Касьян рязанский и «некие епископы оправдывали его, зная как человека честного». Собственно, еретичество Артемия не было доказано, большинство «вин» приписывалось ему вполне голословно и те лица среди высшего духовенства, которые считали необходимым руководствоваться справедливостью, склонялись в пользу подсудимого. Но иосифляне, составлявшие большинство освященного собора и имевшие на своей стороне Ивана Грозного с его духовником, добились вынесения обвинительного приговора.

С огорчением констатирует соборная грамота, что «царь и великий князь Артемью казнь отдал», то есть не пошел на запланированное иосифлянами убийство заволжского проповедника. Зато огромный по объему приговор Артемию вместили столько злобы, настолько ярко показал страх господствующей церковной организации перед словом писателя, что заслуживает подробного изложения.

Местом заточения Артемия был назначен один из отдаленнейших монастырей – Соловецкий. Узник должен был «пребывать внутри монастыря с великой крепостью и множайшим хранением, быть ему заключенным в одиночной келье молча, чтобы и там от него душе-

вредный и богохульный недуг ни на кого не распространился. И да не беседует ни с кем, ни со священниками, ни с простыми этого или иного монастыря монахами. Нельзя ему письменно обращаться ни к кому, или учить кого, или другое мудрование иметь, или к кому-либо послание посылать, или от кого-либо послание принимать, или слово, или любую вещь, ни лично, ни через других.

Запрещено с кем-либо сообщаться и дружбу иметь. Никому не сметь ходатайствовать за него. Он должен только затворенно и заключенно в молчании сидеть и каяться в прелести еретичества своего, в коее впал, чтобы обращаться к истинной вере православия и никто чтоб от него не погиб (то есть не научился Христовым заповедям. – А. Б.).

Поэтому на него наложены соборные узы: быть ему в отлучении от церкви и необщении совершенно, пока не обратится от своего нечестия, и вконец покается, и воистину исправится – тогда относительно него все совершится по церковным правилам. Для этого повелеваем дать ему одного от достоверно-православных монахов пресвитера, чтобы исповедовался ему и каялся. Этот священник пусть смотрит и испытывает, и если его покаяние истинно – извещает настоятелю монастыря Филиппу (Колычеву. – А. Б.). Сам ты, игумен, его время от времени наказывай и поучай от божественных писаний всему полезному к его обращению.

Если (Артемий. – А. Б.) будет жить прилежно и трудолюбезно, ему разрешается причаститься в болезни при смерти, а если выздоровеет – пусть опять пребывает без святого причастия, только перед смертью пусть причастится.

Книги для молитвы и чтения разрешено давать только те, что повелит митрополит с освященным собором, дабы обращался к Богу и каялся от бесовской прелести его нечестия. От прочих книг любых его удерживать, с великим опасением блюсти и не рассуждать, как он окаянно рассуждал.

Подобает внимательно и рассудительно испытывать и досматривать, как он (Артемий) живет: истинно ли и необманно обращение его к православию, имеет ли плоды духа, свидетельствующие к спасению, сокрушенное сердце, смиренный разум, прилежное покаяние и исповедание».

Казалось бы, приговор содержал уже все меры против Артемия, но беспокойство иосифлян не утихало. Они боялись, что слово проповедника смутит даже его крепкую стражу и вырвется из каменного мешка. Осудившие Артемия никак не могли остановиться, изливая в приговоре свои опасения и страхи.

«Самому стражу, к нему (Артемию) приставленному, следует с великим опасением соблюдать себя от него, чтобы не быть поврежденным. Также и священник пусть соблюдает себя твердейшим по вышеуказанной причине, что он должен приходить и принимать исповедь заключенного. Следует и за этими строго смотреть, чтобы не вынесли от него никому ничего или от кого-нибудь к нему ничего не принесли, не дали или не послали что-либо, нигде, никогда, ни к монахам, ни к мирянам.

Все, что делает Артемий, настоятель монастыря должен истинно сообщать архиепископу Великого Новгорода и Пскова Пимену, а тот пусть отписывает обо всем к царю и митрополиту, никоим образом ничего не скрывая, хорошего или плохого».

Соборная грамота пространно обещает, что покаяние Артемия может быть рассмотрено на соборе, кой будет собран повелением царя Ивана, если это покаяние будет истинным, в чем составители грамоты явно сильно сомневаются. Средства к покаянию еретика указаны: это жесточайшее заключение и максимальные утеснения, «пока не обратится и не покается». Иосифляне, как, впрочем, и многие их преемники на ниве искоренения инакомыслия, не видели противоречия в своем желании вырвать искреннее покаяние силой.

Характерно, что, дважды предписав меры по пресечению распространения слова Артемия, церковные иерархи продолжали бояться, что этого недостаточно. Составители собор-

ной грамоты сами уверовали в невозможность заткнуть Артемию рот. В третий раз обратившись к необходимости заставить Артемия молчать, грамота обрушилась на «тех, кто вопреки нашей заповеди и запрету к нему дерзнет или писания посылать, или беседовать, или учиться, или как-либо иначе (!) приобщаться, явно или тайно.

Таковые все, – угрожала грамота, – если и в величестве кто будет, или властью, или саном почтен, от православного... царя... и митрополита, и от всего великого божественного (!) собора будут без всякого сомнения и доказательства сочтены единосветниками и единомышленниками его (Артемия) и осуждены тем же судом как богохульные единомышленники и поборники, которых следует ненавидеть совершенной ненавистью». Обосновали ненависть иосифляне повелениями Священного Писания и святоотеческих сочинений. Особенно разителен контраст гуманных рассуждений Артемия с толкованием иосифлянами слова Божьего как обоюдоострого меча для «разделения души и духа, членов и мозгов».

Все заподозренные в сочувствии Артемию должны были быть отлучены от церкви; «если же и далее будут непослушными, не утрезвятся и не уцеломудрятся, тогда духовными мечами да рассекаемы будут, а от... царя... законную казнь примут». Так кончалась соборная грамота против Артемия, подписанная 24 января 1554 года. В это же время были осуждены на заточение Савва Шах, Порфирий Малый и другие, имена которых не сохранились. В ереси, несмотря на заступничество епископа Касьяна рязанского, был обвинен Иоасаф Белобаев, осмелившийся выступить на соборе против клеветы на Артемия. Преследование учеников и близких к заволжскому проповеднику людей продолжалось: в 1554–1555 годах расследовалось «дело» Феодосия Косого, в 1556–1557 годах состоялся процесс учеников, монаха Ионы и попа Аникея Киянского. «В страданиях наших сообщником» Артемий называл также монаха Игнатия<sup>[11]</sup>. Дальнейшие сведения о церковных судах потонули в страшной волне репрессий, захлестнувших все сословия Российского государства.

Иосифляне недаром беспокоились, что им не удастся замкнуть человеколюбивую проповедь Артемия в каменном мешке темницы. Слабым местом начинающих инквизиторов была неоднородность рядов деятелей Русской православной церкви, среди которых были люди, считавшие заточение Артемия несправедливым, способные воспринять его призыв к гуманности, духовности и самопожертвованию. Одним из таких благородных и честных людей был, как известно, Филипп Колычев, настоятель того самого монастыря, куда в оковах и под стражей был доставлен Артемий. Впоследствии, будучи митрополитом Московским и всея Руси, Филипп мужественно встал на защиту христиан от опричной резни Ивана Грозного и был убит по приказу царя, дав своей пастве яркий пример самопожертвования, вполне в духе проповеди Артемия.

Весьма вероятным выглядит предположение выдающегося русского историка А.А. Зимина, что именно Филипп содействовал побегу Артемия из темницы. Действительно, трудно себе представить, чтобы без помощи влиятельного лица заключенный смог покинуть беломорскую твердыню и в 1555 году добраться до самой Литвы, до города Витебска, где он встретился с Феодосием Косым, бежавшим туда же вместе с учениками. Так или иначе, успешное бегство Артемия свидетельствует о том, что решение собора не оттолкнуло людей от еретика, его никто не выдал на всем огромном пути от Белого моря до литовской границы. К великой злобе Ивана Грозного и его иосифлянского окружения, Артемий свободно продолжил свою литературную деятельность в соседнем государстве с многочисленным православным населением (на Украине и в Белоруссии православие преобладало).

О пребывании Артемия в Витебске уважительно отзывался Андрей Венгерский, знавший также, что некоторое время спустя русский монах нашел приют в Слуцке у князя случкого и копильского Юрия II. Захария Копыстенский уже в начале XVII века писал, что Артемий «с Божьей помощью в Литве от ереси арианской и лютеранской многих отвер-

нул» и принес огромную помощь православию<sup>[12]</sup>. Между прочим, он порекомендовал князю Андрею Михайловичу Курбскому собрать библиотеку греческих и латинских святоотеческих сочинений и организовать их перевод на церковнославянский язык, общий для русских, белорусов, украинцев и православных литовцев. «Беседа о книжных делах» с «блаженные памяти преподобным исповедником Артемием», писал Курбский ученику заволжского старца Марку Сарыгозину, заставила прославленного полководца изучать латынь, помогла приохотить к наукам князя Михаила Оболенского и других, широко организовать перевод книг, проявляя «любовь к единоплеменной России, ко всему славянскому языку».

Устная и письменная проповедь Артемия в охваченном религиозным разномыслием Великом княжестве Литовском оказывала большое влияние на людей, воспитывая их прежде всего в духе терпимости к чужому мнению, приучая спорить в поисках истины, а не уничтожать друг друга. Письма Артемия пересекали границы и в списках проникали в Россию. Переписанные многократно, они имели долгую жизнь и использовались, например, в Поморских ответах старообрядцев (XVIII век)<sup>[13]</sup>. Аргументированная и последовательная защита православия в этих письмах полностью опровергает обвинения Артемия в еретичестве, брошенные на освященном соборе в Москве.

Из творчества Артемия литовского периода сохранилось девять обширных посланий, свидетельствующих о его высоком авторитете среди представителей разных вероисповеданий. Два послания являются частью переписки со знаменитым несвижским типографом кальвинистским пастором Симоном Будным, «возлюбленным братом», «обогащенным наивысшим смыслом и разумом», которого Артемий кротко уговаривает отказаться от ложного учения и которому мягко, но убедительно указывает на ошибки в вышедших изданиях. За разъяснениями православной точки зрения по целому ряду вопросов обращался к Артемию смущенный лютеранской проповедью князь Черторыйский, аналогичное письмо по другим вопросам получил от старца князь Курбский. Артемий имел столь высокий авторитет, что к его разуму прибегали и неправославные. Убедительный ответ Артемия получил, например, влиятельный литовский сановник кальвинистского вероисповедания Евстафий Волович, не сумевший самостоятельно разобраться в одном из посланий Симона Будного. Обращался к Артемию и упитский староста Иван Зарецкий. Полемическую переписку, представлявшую собой публичный спор (ибо письма переписывались и распространялись в списках), Артемий вел с лютеранскими проповедниками и с Феодосием Косым.

Характернейшая особенность посланий Артемия и его проповеди в целом проявлялась уже в обращениях к адресатам. Сколь бы ни был жарок спор, автор постоянно подчеркивает свою любовь и уважение к оппоненту и утверждает свою позицию не иначе, как серьезными доказательствами. «Возлюбленным братом и во всех страданиях сообщником» называет Артемий принципиально разошедшегося с ним во взглядах Феодосия Косого. Артемий спорит не с проклятым кальвинистом, а с «возлюбленным братом Симоном». Лютеранские учителя для него – «друзья», «братия моя», «братья возлюбленные».

Даже оскорбления, сыпавшиеся на него, Артемий старается обратить в шутку. «Слышал, – пишет он лютеранским проповедникам, – что, укоряя, назвали вы меня старым псом. Это правда, ибо пес, слыша незнакомый голос, не перестает лаять, пока не увидит, кто это там не дверьми желает войти в храм господина его; так и я пострадал». Главный противник Артемия – не те или иные толки в христианстве, даже не явные ереси (с которыми он последовательно полемизировал), а подрывающее основу христианства бесчеловечие к инакомыслящим. «Словом только христиане, а делом варвары, – сетует проповедник в письме к Евстафию Воловичу. – Но и среди варваров такого ругания христианам не бывает!»

Окруженный всеобщим уважением, старец Артемий мирно скончался в Слуцке в начале 70-х годов. Он не дождался наступления католической реакции, обрушившейся на Речь Посполитую и Великое княжество Литовское вслед за проникновением туда ордена

иезуитов. В России, где церковь столь неосмотрительно взращивала религиозную нетерпимость, уничтожение инакомыслящих приняло вскоре массовый характер. Волна еще невиданного в истории террора против собственного народа, когда царские опричники уничтожали верноподданных христиан целыми городами, селами и уездами, потопила в крови и Русскую православную церковь. Ни монашеское одеяние, ни священнический сан, ни высшая архиерейская должность не служили защитой от царских убийц. Лучшие полководцы, государственные деятели, литераторы-книжники, представители духовенства были уничтожены. Подвергнутая Великому разорению, страна в буквальном смысле слова обезлюдела, братоубийственное кровопролитие расшатало складывавшиеся веками моральные ценности. Религиозная нетерпимость достигла апогея, когда в начале XVII века православие и католичество столкнулись в огне Смутного времени и реки крови пролились с обеих сторон, осененных знаком креста.

## Глава II

### Жертвы смуты

«Растлеваемо было богатство, оскудевали красота и слава, отринуто от любви чело-  
веколюбия уходило с земли нашей родовое владычество, оскудели города, оскудели люди.  
Не оскудела мерзость, и вырос плод греха, возшло дело беззакония, и возненавидели друг  
друга, и умножились среди нас падения...»

За Великим разорением на Россию надвигалась Смута – время гражданской войны  
и иностранной интервенции, когда полки неприятелей проскакали по могилам казненных  
самодержцами полководцев до Волги, когда разоренный и вымирающий от голода народ  
восстал на своих правителей, а те погрязли в междоусобии и в погоне за призрачной властью  
готовы были продать страну иноземцам, когда мужественные и честные не знали, на чьей  
стороне правда, когда лютые преступления против человечности ежеминутно множились и  
те из духовных пастырей, кто не предал, призывали к массовому человекоубийству во имя  
Господа... Страшна была война, и не менее страшное наследие оставила она в душах людей.

«Что творите, окаянные?! Сотворите едино покаяние, познайте прегрешения ваши,  
помилуйте наготу свою! И ни один не покаялся, не нашел в себе хоть малого смирения», –  
автор остановился, прозревая страшную участь Российского государства. Так древле Адам,  
преступивший Божью заповедь, был извержен из рая, потому что «не покаялся к Творцу  
своему и Создателю, да победит грехи покаянием. Если бы сначала смирился – не навел бы  
всему роду своему напасть!». Но человек ничему не научился и вместо того, чтобы с раска-  
янием заглянуть в собственную душу, всюду ищет виновных: объективные обстоятельства,  
происки тайных врагов...

Человек отложил гусиное перо и отошел от резной дубовой конторки, на верхней  
крышке которой лежала стопа чистой немецкой бумаги. Лишь несколько листов были свер-  
нуты в тетрадь; на верху ее первой страницы значилось: «СЛОВЕСА ДНЕЙ, И ЦАРЕЙ, И  
СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ», а под заголовком мелко: «Сие князь Иванова слогу Андре-  
евича Хворостинина»<sup>[14]</sup>.

Мелкие частые окошки освещали богатую горницу новопостроенного княжеского  
терема. Лучики света искрились на золотом шитье покрывавшей стены парчи, заставляли  
гореть гасившее звук шагов малиновое сукно на полу. За окнами сверкала свежим деревом  
омытая недавним дождиком восставшая из пепла Москва, плыли в голубом небе светлые  
кресты церквей, не успевшие потемнеть от непогод. В мягких, тисненой кожи цветных сапо-  
гах и длинном широком домашнем кафтане из тонкого узорчатого бархата князь медленно  
мерил шагами расстояние от низкой, с тяжелым засовом двери до рукописи на конторке.  
Со двора, через круглые в свинцовом переплете стеклышки окон, смутно доносился голос  
супруги, распекавшей дворню. Назойливо гаяло воронье, гоняемое холопами от жита, еще  
не сложенного в амбары.

Макнув перо в неистребимые, несмываемые темно-коричневые чернила, князь Иван  
Андреевич Хворостинин начал новую строку: «Я же, сколько слышал и сколько видел, никак  
не могу утаить». Он писал, обращаясь к читателю с просьбой верить ему: «Страна Русская  
и преславный град Москва свидетель словам моим!» Главное, думал князь, писать без «рас-  
сечения» правды на упрощенные односторонние взгляды и оценки, не скатываться к голому  
обличению и восхвалению, продуктам нетерпимости. Воспоминания о Смуте должны быть  
уроками, а не приговорами.

Итак, страшный голод начала века. Во главе государства – захвативший власть царь  
Борис Годунов, из бояр. Человек незнакомый с книжным учением, но талантливый. Жалея

гибнущих подданных «благоразсудным милосердием», он приказывает кормить людей государственными запасами зерна, раздает деньги, «оскудевая собственные сокровища», совершает подлинный подвиг человеколюбия. Превосходя в милости всех прежних владык, Годунов создает даже специальные команды для христианского погребения погибших от голода.

Годунов был «лукав нравом и властолюбив», но в то же время – великолепный строитель, украсивший города; он укротил лихоимцев, завоевал авторитет в мире и мудростью «как добрый гигант облекшись, принял славу и честь от государей». Однако правил он, разделяя и сталкивая людей. «И озлобил людей своих, и поднял сына на отца и отца на сына, сотворил ненависть и коварство в домах подданных». Годунов поднял рабов на господ, подневольных «работных людей» на свободных, столкнул знать и администрацию, низверг и погубил великое множество «благородных».

Конечно, не деятельность Годунова, а страшные последствия Великого разорения вели страну к Смуте, но Хворостинин верно заметил, что правление Бориса обострило социальные противоречия (достаточно вспомнить указы о закреплении крестьян и законы о холопстве). Чувствуя, как шатается трон, Годунов «с колдунами совокупился, гадая о будущем, и надежду свою возложил на чародейство». В то же время он творил свой культ, заставляя поклоняться себе, как богу. По безвременной кончине Борис был многими оплакан и с великой честью похоронен.

Сам князь Иван Андреевич юношей присутствовал на похоронах царя Бориса и имел право написать о том, что все тогда головы «от печали восклонили». Сын и наследник Годунова Федор Борисович был всем хорош, но обречен на гибель вместе с переданной ему отцом властью. Поднявшегося тогда Лжедмитрия I Хворостинин обличает как законопреступного обманщика – но обманулись многие, и из Москвы «все навстречу вышли ему и с обилием богатства радостно встретили» нового владыку.

Что бы ни говорили и ни писали после, в столице *все* «беззаконного царя владыкой хотели», а на семью Бориса *все* «разъярились». Именно массы москвичей изгнали царя Федора Борисовича из дворца и заточили его вместе с родными за приставы, то есть по разным домам. Людям Лжедмитрия оставалось только взять веревку и задушить заключенных. «Дивным видением» назвал Хворостинин извержение из Архангельского собора тела Бориса Годунова, когда все вдруг увидели, что тот, кого недавно оплакивали, «убил безвинных много»: сколь быстро изменилась точка зрения людей на владыку, которого они сами положили рядом с царями.

Общество было охвачено желанием перемен, все ждали от нового царя улучшения своей участи: крестьяне, повергнутые в крепостное бесправие, восставшие против своих господ холопы, десятки тысяч беглецов, покинувших Россию и показавшихся, оголодавшее воинство и обнищавшее дворянство, уставшее от опал боярство, умиравшие от голода ремесленники и торговцы, богатое и бедное духовенство... Московский «святительский чин и архиерейский собор с жителями благолепно почтил беззаконного (Лжедмитрия I) со святыми иконами, все народы Москвы ублажили его псалмами и песнями, и вся страна склонилась к его восхвалению».

Среди знати, окружившей трон нового царя Дмитрия Ивановича (как назвал себя монах-расстрига Григорий Отрепьев), был и потомок ярославских князей, сын известного опричника и боевого воеводы (недавно скончавшегося) князь Иван Андреевич Хворостинин-Старков<sup>[15]</sup>. Овеянный романтикой драматической легенды и славой мужественного воина, доброжелательный и дерзкий в планах, умный, начитанный и ловкий, Лжедмитрий I увлекал придворную молодежь грандиозными замыслами, призраком будущей славы и удалым разгулом в настоящем. Потрясенный открывшимся перед ним полем деятельности, Хворостинин активно впитывал ворвавшуюся в московские терема западноевропейскую культуру, изучал латынь, беседовал с католическими и лютеранскими богословами.

В скором времени князь Иван стал ближайшим слугой и участником всех развлечений государя, в том числе дурного свойства, типа лихих налетов на женские монастыри. По молодости и неопытности Хворостинин сумел досадить многим, даже нидерландскому резиденту Исааку Массе, в своих воспоминаниях назвавшему князя «надменным и все себе позволявшим мальчишкой»; хитрый голландец отомстил ему, бросив с пера уже столетия смущающую историков фразу, что Лжедмитрий «растлил 30 девиц и юного князя Хворостинина»<sup>[16]</sup>.

Когда Хворостинин уже в зрелом возрасте писал свои «Словеса дней, и царей, и святителей», он понимал, что Лжедмитрий оказался недостаточно «крепок» для трона, имея при внешнем блеске «мерзость запустения в сердце»; что он «не царь, а законопреступник и хульник иноческого жития, а не владыка, не князь». Но главным орудием свержения Лжедмитрия стали религиозные мотивы, прикрывавшие разочарование многих и личные интересы организаторов переворота.

О том, насколько значительный эффект имело «неблагодетельство» Лжедмитрия I, свидетельствует такой эпизод, приведенный князем в «Словесах». Царь в разгар своих холостяцких приключений возвел потешный дворец, полный всяческих выдумок и богато украшенный, гордо похваляясь этим «не господственным делом». Князь Иван, будучи наиболее любимым его приближенным, горько укорил царя: «Блуднические хоромы златом довольно украсив, мнишь оставить по себе вечную память», возносясь над самим Богом, вместо того чтобы возвести храм. Потрясенный этим упреком, Лжедмитрий стал наедине расспрашивать князя Ивана: «Ты ли злое помыслил на меня?!» «Нет, – отвечал Хворостинин, – я не отрекся от тебя и не отрекусь, более всего своего спасения хочу зреть твое здравие, но не воздам чести тебе, царю-человеку, более славы Божьей. От твоей милости, самодержец, никакое зло не может меня отторгнуть, кроме низвержения христианского закона».

Лжедмитрий не разгневался, лишь закрыл Хворостинину рот рукой, не желая слышать упреков. Но он и не прислушался к предупреждениям сторонников, ибо, своей мыслью и делами возвысившись, считал возможным «устроить самодержавие выше человеческих обычаев», невзирая на мнение других. Он сверг уважаемого всеми патриарха Иова и поставил на его место верного себе Игнатия, деятельность которого заставила боголюбивых людей пролить потоки слез.

Пока Игнатий «сердца сокрушал любящих Господа», Лжедмитрий женился на Марине Мнишек, причем верный ему Хворостинин как кравчий наливал молодым вино за царским столом. В «Словесах» князь благоразумно опустил этот эпизод, но гневно воскликнул: «Царским венчался венцом, сущий отступник!» Падение Лжедмитрия I было предрешиено.

Организатор его убийства князь Василий Шуйский захватил власть хитростью, улепив знатных показным смирением, остальных – подарками и обещаниями. Издревле Шуйские «были властолюбцы, а не боголюбцы», хоть и подняли знамя спасения веры! «И так принял Василий хоругви царские многими своими трудами, и отер пот своей злой и лестной измены».

Хворостинина передергивало от ярости, когда он писал о Шуйском – бездарном правителе, несколько лет тащившем страну по кровавым ухабам затяжной гражданской войны. Но князь не мог не отметить, что сразу по приходе к власти царь был весьма внимателен и милостив к подданным, «милостивое всем людям благодеяние обещал сотворить и теми словами христианское множество желал любовью возжечь и в благохвальное состояние привести».

Без всякого понуждения Василий Шуйский публично, в соборной церкви, поклялся царствовать справедливо и на благо подданных, а с народа взял клятву верности. «Но разве человеческая природа знает желание свое?» Своим неискусным умом Шуйский сам нарушил клятву, «и поднялась на него держава его, и преступили клятву, которой клялись ему, и во дни его всякая правда уснула, и суда истинного не было, и любовь к чести иссякла».

Среди всех, выступивших против Шуйского, Хворостинин справедливо выделяет участников Крестьянской войны под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Именно эти люди, «бросив плуги свои, и одевшись в брони, и препоясавшись оружием», стали громить правительственные полки и брать один за другим города. Знать, «братия» князя Ивана Андреевича, терпела поражения «от единоплеменных». И вновь автор не только укоряет царя Василия, который «в туге и скорби был», но и отдает должное упорству, с которым тот «утверждался и сопротивлялся» крестьянской армии: «...когда своих воинов губил, когда их (восставших) многое ополчение разбивал и бесчисленную кровь врагов своих различно проливал».

Хворостинин глубоко прозревал изменения, происходившие в Шуйском, царившем в Москве, когда против него поднимались одна за другой земли Руси, толпы искателей поживы из Речи Посполитой и Швеции заполняли страну. Как и Годунов, царь Василий метался от благочестивого украшения храмов к чародейству и гаданию, «неверием от многого сетования объят был и в буйство уклонился», стал прислушиваться к «ложным шептаниям» и «своих людей оскорбил, злосердием движим». Оскорбляя православных, он окружил себя толпой лживых наветчиков, «изменив свой первоначальный обычай», и долго безуспешно боролся со своими врагами.

Свержение Шуйского с престола было весьма неоднозначным событием: ведь неспособный одержать победу над восставшими против «боярского царя», царь Василий все же олицетворял собой единство пусть и охваченного междоусобицей государства. Когда прославленный воевода князь Федор Иванович Волконский «и с ним иные мелкие дворяне», не испугавшись жестокой расправы над участниками предыдущих заговоров, схватили Шуйского прямо во дворце, гражданская война в России вошла в решительную и самую кровавую стадию.

Размышляя над этим событием, князь Хворостинин признает, что Шуйский дал основания для ненависти к себе и не случайно «в пятое лето державы его наполнились лютой ревностью» люди на него и братью его, поднялись от бояр и до простолюдинов, но, считает автор, их нельзя одобрить, — поднялись, «подстрекая и подущая малоумных и не имеющих страха Божия, полагающих свет во тьму, называя горькое сладким и сладкое горьким, не боясь крестной клятвы, завистью и гневом отлучили царя от престола».

Эта оценка тем более удивительна для того черно-белого времени, когда в ожесточении борьбы люди склонны были делить всех только на друзей и врагов, что сам Хворостинин сильно пострадал от царя Василия. «Как ты был при Ростриге (Лжедмитрии I. — А. Б.) у него близко, — гласило обвинение Хворостинину, — и ты впал в ересь, и в вере пошатался, и православную веру хулил, и постов и христианского обычая не хранил, и при царе и великом князе Василии Ивановиче всеа Руси был ты за то сослан под начало в Иосифов монастырь»<sup>[17]</sup>.

Три или четыре года молодой князь провел в заточении в цитадели иосифлян — Иосифо-Волоколамском монастыре, стоявшем в первых рядах борьбы против «еретичества». Падение его политического врага — Шуйского — освободило Хворостинина из заточения и позволило ему вернуться в Москву. Следовало подняться не только над своим временем, но и над собой, чтобы оценить свержение Шуйского как преступление. Даже современные нам историки считают стремление Хворостинина отказаться от односторонности оценок неестественным, манерным. Между тем для князя Ивана Андреевича это была не только хорошо продуманная, но и выстраданная позиция. Упорство, с каким он старался взглянуть на события и героев с разных точек зрения, не было искусственным литературным приемом: это был протест личности против грозящих уничтожить ее и весь мир политических и идеологических пристрастий.

Позиция Хворостинина особенно ярко проявилась в повествовании о патриархе Гермогене — одной из крупнейших фигур Смуты. Говоря о Гермогене, обычно вспоминают его

пламенный призыв к всенародному ополчению против интервентов, за который он погиб в заточении голодной смертью. Этот подвиг обычно заслоняет сложные перипетии биографии Гермогена, ставшего архиепископом Казанским еще в правление Бориса Годунова, а в Москву приглашенного Лжедмитрием I, который даже ввел его в сенат. Правда, довольно скоро Гермоген примкнул к противникам самозванца и был выслан из Москвы за публичную критику его католических симпатий. На Патриарший престол Гермоген был возведен волей Василия Шуйского, которому преданно служил. Именно Гермоген руководил расправой над Хворостининым, так что у того были все основания негативно отзываться о патриархе. И все же в «Словесах дней, и царей, и святителей» Гермоген – наиболее положительный герой!

При Шуйском, писал князь Иван Андреевич, Гермоген «украшал святой патриарший престол». «Видел добрый пастырь царя малодушествующего, много помогал ему своим искусством и не смог спасти того, ради которого принял от всех людей многие беды». Гермоген, по словам Хворостинина, был «истинный пастырь наш и учитель изрядный». Князь Иван не хотел обманывать читателя, представляя Гермогена идеальным духовным вождем. Как и все русские люди в Смутное время, патриарх испытывал колебания и делал ошибки. В ряде случаев паства ополчалась на высшего иерарха, в свою очередь Гермоген выступал против большинства. Иногда патриарх «уязвлялся страхом перед людским шатанием, иногда безстрашием украшался». Главное – он являлся кротким учителем, кротостью поучая людей следовать божественному уставу.

Дойдя до рассказа о Гермогене, Хворостинин отошел от хронологической последовательности в изложении: он был целиком захвачен мучительными размышлениями, душевной болью, сомнениями относительно этой фигуры Смутного времени, в которой для князя Ивана Андреевича зримо выражалась роль церкви в разделенном гражданскими конфликтами обществе. Те, писал Хворостинин, кто получал от патриарха благословение, низринули его с пастырского престола. «Я видел неиствующих на его величие, и распылался мыслью своей, и душой болел за него, ибо видел пастыря, пораженного своими козличами, которые вместо волков бодали и уязвляли своего владыку. Хотя я больше всех перенес от него гонений и граблений, жил в тиранстве под его властью (имеется в виду заточение. – А. Б.), но никогда не мыслил на него лукаво, а больше всех скорбел о нем, и стремился спасти его, и не мог спасти, потому что его гневом был обращен в ничто!»



*Гермоген, патриарх Московский и всея Руси*

Человек, которого Гермоген объявил еретиком, сумел оценить положительные качества своего гонителя, «истинное свое и благочестивое исправление ему отдать». В немногих словах, на частном примере Хворостинин показывает трагизм борьбы с «еретичеством», бывшей по людям, сохранявшим свою совесть и человеческое достоинство. «Любимые и славные» для Гермогена люди призывали Хворостинина стать, как и они, тайным врагом патриарха, «обещая... – пишет князь, – многотысячное обогащение», надеясь заставить переступить через свою совесть «юности моей ради». Но Хворостинин сохранил верность Гермогену и верность себе.

Недаром в критический момент гражданской войны, когда захватившее власть после свержения Шуйского правительство Семибоярщины призвало на московский престол поль-

ского королевича Владислава и волны интервентов заливали всю страну, «украшенный седи- нами» патриарх со слезами обнял молодого Хворостинина: «Ты более всех потрудился в учении, ты ведаешь, ты знаешь». «Книжное любомудрие» князя Ивана Андреевича более не вызывало у патриарха подозрений, напротив, Гермоген надеялся, что искушенный в нау- ках юноша поймет его позицию. Я никогда не призывал в Москву интервентов, говорил па- триарх, это ложь, что я вооружаю и поддерживаю «неединоверное воинство, которое, нару- шив клятву, обладает нами через свое слово. Вы свидетели моим словам: я никогда такого не говорил! Одно проповедовал вам: облекитесь в оружие Божие, в пост и в молитвы... Се оружие православия, се сопротивление в вере, се устав закона! А кого нарекли царем (то есть Владислава. – А. Б.), если не будет единогласен вере нашей, не будет нам царем! Если же будет верен – да будет нам владыка и царь!».

Во время этого разговора Хворостинин был еще при дворе, участвовал (как и Гермоген) в таких событиях, как отправка посольства к осаждавшему Смоленск королю Сигизмунду с прошением отпустить на московский престол его сына Владислава. Автор сочинения «Словеса дней, и царей, и святителей» не снимает с себя ответственности за последовав- шие трагические события, не старается задним числом разделить людей на патриотов и «изменников», как это было свойственно историкам. Те, кто, несмотря на протест Гермо- гена, насильственно постриг, а затем и выдал врагам Василия Шуйского, «обольстили нас и так, благодаря многим обманным речам и легкости ума *нашего*, столицу нашу захватили и народ оскорбили». Лишь когда Сигизмунд арестовал посланное к нему посольство и после кровопролитной осады взял город Смоленск, защитники которого погибли, но «не сдались, не преклонили перед врагом головы своей», после ужасающей резни, устроенной интервен- тами в Москве, позиции людей определились.

На место раздора гражданской войны пришло объединение сил в патриотическом Все- народном ополчении, выступившем против интервентов и тех русских, которые «как враги единоплеменникам своим были, пожигая и губя нас». Патриарх Гермоген, отказавшийся сотрудничать с изменниками и их хозяевами-поляками, был заточен и уморен голодом в Чудовском монастыре в Кремле. Прошло время, и князь Хворостинин, уже закаленным во многих сражениях воином, смог вернуться к своему духовному отцу.

Соратник Минина и Пожарского, князь Хворостинин одним из первых вошел в осво- божденный Кремль и узнал у немногочисленной уцелевшей братии Чудова монастыря, где похоронено тело нового мученика – Гермогена. Плач Ивана Андреевича над гробом патри- арха – одна из искреннейших и драматичнейших страниц древнерусской литературы. Суро- вый воин, не стыдясь слез, оплакивал Гермогена как любимого отца и «заступника веры нашей».



*Гермоген, патриарх Московский и всея Руси*

Но тут же, над гробом, поразило князя Ивана Андреевича мучительное сомнение, сопровождавшее его потом многие годы. Он «вспомнил и был ранен мыслью», что, как говорят, патриарх призвал людей к вооруженной борьбе с интервентами, рассылал письма, поднимавшие народ на восстание. Может ли духовный пастырь способствовать массовому кровопролитию (а «кровь пролилась великая от его учительства»)?! И пришло Хворостинину на ум «преподобного Ануфрия Великого слово: «Лучше битую быть, чем бить, укоряему быть, а не укорять, и принимать бьющего, как милующего, и оскорбляющего, как утешающего». Вспомнил князь и сходные мысли апостола Петра. «И так подумал: недостойно духовному лицу дерзать на поучение к кровопролитию, следует ему отстраняться и удаляться от мир-

ского, как учит нас преславный псалмопевец пророк Давид, говоря к Богу: “Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего!” И ведь Господь ему создать храм не повелел, говоря: “Пролил ты много крови и не возведешь церкви моей”.

Мысль о том, что слово духовного лица может рождать ненависть между людьми, сталкивать народы в кровавой битве, терзала христианскую душу Хворостинина. Сам он не видел греха в том, что, как воин, поднял меч на защиту российской государственности. Хворостинин и далее продолжал военную службу. В начале 1613 года князь уже воеводствовал во Мценске, обороняя границу от польских войск, сражаясь с казаками Заруцкого. Затем, до октября 1614 года, в числе пограничных «больших воевод» Хворостинин командовал Сторожевым полком, базировавшимся в Новосили. Неприятель был отбит, и в течение трех лет Иван Андреевич мог наслаждаться миром.

В 1618 году королевич Владислав предпринял новое решительное наступление на Москву по Смоленской дороге. Сюда его поддерживала армия гетмана Сагайдачного. Казаки рвались к русской столице, считая стоящие на их пути крепости, но от Переяславля-Рязанского, где обороной командовал князь Хворостинин, враг был отбит. За защиту города 13 марта 1619 года воевода был пожалован «у царского стола» драгоценным кубком и собольей шубой ценою в 160 рублей. Но даже во время упорных боев с неприятелем Хворостинин не забывал поразившей его мысли о причастности духовного пастыря к кровопролитию, особенно страшному, когда политические враги оказываются врагами идейными.

Командуя обороной Переяславля, Иван Андреевич беседовал об этом с архиепископом Феодоритом, «вопрошая его о посланиях патриарха – как тот прельстил народы и ополчение ваше к своей гибели поднял? Он же (Феодорит. – *А. Б.*), духовной ради любви, во внутреннюю комнату пошел и письмо самой патриаршеской руки дал мне». На этом «Словеса дней, и царей, и святителей московских» во всех известных списках обрываются, и завершение мысли Хворостинина нам неизвестно. Возможно, князю слишком тяжело было продолжать...



*Ксения Ивановна, в инокинях Марфа, мать царя Михаила Романова*

Полагают, что он писал свои «Словеса» по возвращении с войны в 1619 году. Религиозная нетерпимость, вспыхнувшая в России в Смутное время и принесящая стране бесчисленные дополнительные жертвы, еще более усилилась тогда в связи с возвращением из польского плена митрополита Филарета (отца молодого царя Михаила Романова), вскоре ставшего российским патриархом<sup>[18]</sup>. Слова «католик», «латинянин» звучали в Москве как «злейший враг». Настрадавшийся в плену, Филарет испытывал жгучую ненависть к иноверию, и католичеству в особенности; укрепление этой ненависти в пастве он считал особо важной миссией Патриаршего престола. Для искоренения действительного или мнимого «латинского влияния» в России применялись чисто инквизиционные методы...

Мы не знаем, что написал или хотел написать в конце своего сочинения Иван Андреевич Хворостинин относительно религиозной нетерпимости Гермогена, но нам хорошо известно, какой протест вызвала у князя церковная политика Филарета. По мере гонений на

католиков (а пленных этого вероисповедания было довольно много в Москве) Хворостинин все более сближался с гонимыми, принимал их у себя в доме, не гнушаясь беседой не только с иноверцами, но и с самими католическими священнослужителями. В доме образованного придворного находились латинские книги и религиозная живопись.

Заслуженный воевода считал себя вправе противостоять наследию Смуты и демонстративно почитал «заодин» православные иконы и католические картины. Он не желал делать различия между греческими и латинскими сочинениями или разделять людей не по разуму и образованности, а по вероисповеданию. Такое поведение не могло не раздражать не только церковные власти, но и людей, зараженных церковным ханжеством эпохи. Даже приятель Хворостинина, известный литератор и стихотворец князь Семен Иванович Шаховской (тоже из рода ярославских князей), сам подвергавшийся церковным преследованиям, в письмах выговаривал Ивану Андреевичу за высокоумие и гордость, за упорство, с которым тот спорил по вопросам истории церкви, «превозношась многим велеречием и гордясь... фарисейски, думая выше всех людей знанием божественных догматов превзойти»<sup>[19]</sup>.

Легко представить себе реакцию на такое поведение патриарха Филарета, который, по отзыву архиепископа Астраханского Пахомия, «возраста и сана был среднего, божественное писание отчасти разумел, нравом опальчив и мнителен, а властолюбив был настолько, что сам царь боялся его; бояр же и всякого чина людей царского совета сильно томил необратимыми заточениями и иными наказаниями; к духовному же чину милостив был и не сребролюбив; всякими же царскими делами и ратными владел...»<sup>[20]</sup>.



*Филарет, патриарх Московский и всея Руси*

Если Хворостинин думал, что ратные заслуги или придворный чин стольника, знатность рода или образованность ограждают его от посягательств духовных властей, он сильно ошибался. Патриарху ничего не стоило приказать провести в княжеском доме обыск, чтобы отобрать все латинские книги, рукописи и картины, да еще объявить, будто князь с католиками «в вере соединился». Иван Андреевич, по словам Шаховского, «величался в рабах своих», обращая свои речи к холопам. Патриарх показал князю, что перед властью тот сам холоп. Только по государевой милости, было объявлено Хворостинину, «наказания тебе не

было некоторого». Князю было приказано: «Чтобы ты с еретиками не знался, и ереси их не перенимал, и латинских образов и книг у себя не держал».

Не блещущему начитанностью патриарху было лучше известно, что человеку следует читать и с кем общаться. Надо сказать, что почтение Хворостинина к образованности вообще было глубоко противно российским церковным иерархам его времени. Подобным образом пострадали игумен Троице-Сергиева монастыря Дионисий, старцы Антоний Крылов и Арсений Глухой и священник Иван Наседка<sup>[21]</sup>. Эти люди, известные своим участием в борьбе с интервентами в Смуту, после победы отважились сравнить 20 списков Требника, чтобы исправить при издании вкравшиеся при многократном переписывании ошибки. За эту непростительную дерзость они в 1618 году были брошены в кандалах в тюрьму. Как писал много лет страдавший в опале Арсений Глухой, осудившие его церковные иерархи «не знают ни православия, ни кривославия»; «есть иные и таковы, которые на нас ересь возвели, а сами едва и азбуку знают, а что восемь частей речи разуметь, роды, числа, времена и лица, звания и залогии – то им и на разум не всхаживало, священная философия и в руках не бывала». Даже гораздо позже, в 1645 году, официально считалось, что таланты не развиваются учением, а «даются от Бога». Именно так ответили на просьбу о разрешении преподавания в Москве константинопольскому учителю Венедикту, выговорив при этом, что «при патриархе неприлично и крайне дерзко младшему по сану называть себя учителем и богословом». В порядке вещей был и донос, что человек учится «греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть», «кто по-латыни учится, тот с правого пути совратится» и т. п.<sup>[22]</sup> Так что запрещение Хворостинину читать латинские книги было даже довольно мягким.

Ивану Андреевичу тяжелее было ощущать себя поднадзорным, духовным невольником. В атмосфере страха и подозрительности он не мог найти себе единомышленников. Люди таили свои взгляды, если они хоть сколько-нибудь отличались от мнения начальства. Лучше всего было взглядов не иметь, ибо кто мог предсказать, что будет названо ересью завтра? Не видя для себя выхода, Хворостинин озлобился. Он писал памфлеты, где были, по оценке судей, «про православную христианскую веру непригожие слова и про всяких людей Московского государства многие укоризны и хульные слова». Писал князь для себя, изливая на бумаге душу и никому не показывая написанное. Эти прозаические и стихотворные произведения были впоследствии изъяты при новом обыске и уничтожены, списков их не сохранилось.

В уничтоженных книжках Хворостинина, как гласит обвинение, были эпиграммы на разных лиц, насмешки над московскими обычаями, когда, например, поклоняются иконам по подписи: раз написано, будут кланяться и подделке, а если образы «не подписаны – и тем не кланяются». В стихах Хворостинина встречались едкие афоризмы, типа запавшего в память судей двустипшия, что московские люди

Сеют землю рожью,  
А живут все ложью!

С горечью писал стихотворец, что у него нет «никакого приобщения» с людьми, среди которых он живет.

Ограниченный в контактах в Москве, где, как в раздражении говорил князь, «людей нет, все люд глупой, жить... не с кем», Хворостинин просился на посольский съезд на границу с Речью Посполитой (но был, разумеется, отправлен в другую сторону – на пограничье против ногайцев). Власти полагали, что Иван Андреевич хотел сбежать в Литву. Возможно, такая мысль у него появлялась, потому что в разговорах Хворостинин упоминал о желании проситься у царя в поездку в Речь Посполитую и Италию. Уже тогда это считалось «изменой», ибо русский человек не должен хотеть съездить за границу!

Повторный обыск в доме Хворостинина, проведенный в конце 1622 года, дал материал для обвинения, ставшего важным прецедентом в политическом преследовании инакомыслящих. На основе личных рукописей Ивана Андреевича (не переписанных даже писцом) осуждался образ мыслей, по мнению властей, недостаточно патриотический. «Понятно, – гласил приговор, – что такие слова говорил ты и писал гордостью и безмерством своим и в разум себе в версту (то есть в сравнении с собой. – А. Б.) не поставил никого. И тем своим бездельным мнением и гордостью ты всех людей Московского государства и родителей своих, от кого ты родился, обесчестил, и положил на всех людей Московского государства хулу и неразумие».

Власти подразумевали, что подданные должны иметь образ мыслей восторженный и почтительный. А в бумагах Ивана Андреевича было «сыскано», что не только отечественная действительность в целом, но и сам государь Михаил Федорович не вызывает у автора слез умиления и назван «не по достоинству – деспотом русским, – а деспот значит по-гречески владыка или владетель, а не царь и самодержец». «А ты, князь Иван, не иноземец, – с изумительной простотой сообщал приговор, – московский природный человек, и тебе так про государево именование писать непристойно».

Обвинения светского характера весьма интересны с точки зрения последующей истории России, однако в приговоре Хворостинину они уступают место более важным для судей обвинениям в ереси. Это неудивительно, учитывая накал религиозной нетерпимости после Смуты и влияние патриарха Филарета, явно оттеснявшего на второй план своего кровного и духовного сына царя Михаила Федоровича. Сам повторный обыск у Хворостинина был проведен по подозрению церковных властей, будто он «начал жить не по-христиански и вникать в ересь».

Хуже всего, по мнению судей, было то, что Хворостинин вновь завел у себя латинские книги и картины вместо конфискованных в первый раз. Дальнейшие обвинения были построены прежде всего на доносах слуг князя, яркими красками описавших «в жизни его в христианской вере неисправление». Впрочем, и сам князь не боялся прямо излагать на суде свои взгляды, «сам, – удивленно отмечали судьи, – во многих таких непристойных своих делах вину свою объявил!».

В присутствии церковных иерархов суд под председательством царя Михаила Федоровича (номинально) и патриарха Филарета Никитича обвинил Хворостинина в том, что тот запрещал своим слугам ходить в церковь, «а говорил, что молиться не для чего, и воскресения мертвым не будет, и про христианскую веру и про святых угодников божиих говорил хульные слова», то есть фактически отвергал христианское вероучение, а не просто был еретиком.

Эти взгляды князь Иван Андреевич якобы подтверждал всем своим поведением. Он стал «жить нехристианским обычаем», в том числе «беспрестани пить», не соблюдая ни постов, ни церковных праздников, не посещая ни храмов, ни даже царского дворца. Мы достаточно хорошо представляем себе последствия духовного гнета, чтобы оспаривать возможность пьянства окруженного шпионами и ежечасно ждущего ареста князя. Легко поверить, что, лишенный собеседников и единомышленников, Хворостинин «в 1622 году Страстную неделю пил всю без просыпу, и против светлого Воскресенья был пьян, и до света за два часа ел мясную пищу и пил вино прежде Пасхи», как гласит приговор.

Но обвинения Хворостинина в неверии в воскресение мертвых и другие догматы выглядят гораздо менее достоверно, тем более что приговор оставляет нас в неведении, какие, собственно, идеи отстаивал Иван Андреевич перед судом. Не соответствует этим обвинениям и назначенное Хворостинину наказание. «Отступник» не только от православия, но и от христианства в целом почему-то не был казнен смертью, хотя заподозрить патриарха Филарета и его приближенных в милосердии никак невозможно! За меньшую провин-

ность легко было поплатиться головой, тем более что Филарет был способен репрессировать и более знатного человека. Когда дрожали бояре, окольные древнейших родов, стоящему ниже по лестнице чинов стольнику не приходилось надеяться на спасение.

«И за то довелось бы тебе учинить наказание великое, потому что поползновение твое в вере не впервые и вины твои сыскались многие, — гласит приговор. — И по государственной милости за то тебе наказания не учинено никоторого!» И так, светская власть вообще умыла руки. Церковная власть не дремала, но и ее Фемида не была особенно непреклонной: «А для исправления твоего в вере послан ты под начало в Кириллов монастырь, и в вере истязай (то есть испытан. — *А. Б.*), и дал на себя в том обещание и клятву, чтоб тебе впредь истинную православную христианскую веру греческого закона, в которой ты родился и вырос, исполнять и держать во всем непоколебимо, по преданию святых апостолов и отцов, как соборная и апостольская церковь приняла, а латинской и никакой ереси не принимать, и образов и книг латинских не держать, и в еретические ни в какие учения не вникать».

Называя заточение молодого человека в далеком северном монастыре на неопределенный срок относительно мягким наказанием, мы исходим, разумеется, не из нормальных человеческих соображений, а из отечественных реалий: ведь к мучениям предварительного следствия и суда осужденному не было добавлено ни подземной темницы, ни кандалов, ни специального тиранства надзирателей (не говоря уже о том, что Хворостинина не сожгли на костре, не зажали в клетке и т. п.). Более того, в Кирилло-Белозерском монастыре Иван Андреевич через некоторое время вновь получил доступ к перу и бумаге. Благодаря этому мы можем несколько приоткрыть завесу над тем, что же происходило на церковном судилище в Москве в конце 1622 — начале 1623 года.

Приехав по зимнему пути на Белоозеро, узник застал в месте своего заключения не совсем ту обстановку, в которой желал видеть его патриарх Филарет. «Духовный отец» и распорядитель всего царства послал с конвоем инструкцию, дополняющую приговор Хворостинину требованием поместить узника в особую келью под постоянный надзор «житьем крепкого» монаха, не выпускать заключенного из монастыря и запретить какие-либо свидания с ним. Особое внимание патриарх обращал на то, чтобы Хворостинин был ежедневно занят исполнением «келейных правил», церковным пением и т. п. Но монахи Кириллова монастыря, среди которых пребывали многие ссыльные и еще сильны были нестяжательские настроения, отнеслись к ученому князю с непозволительным, по мнению патриарха, добродушием. Обитатели монастыря, отразившие с оружием в руках интервентов, не испугались гнева самого Филарета. Они приняли Хворостинина как своего собрата-книжника (в монастыре была большая библиотека и книгописная мастерская), предоставили ему возможность работать и даже... отменили его отлучение от церкви, допустив к исповеди и причастию.

В сочинениях, написанных в стенах Кириллова монастыря и бережно там сохранных (а впоследствии переписывавшихся), литератор имел возможность опровергнуть возведенные на него обвинения в неправославии. Он против многих ересей «книги изложил православными догматами, истинными священными словами соборной апостольской церкви греческого народа, ее же свет сияет и у нас единовластно, и передал благоверным, да научатся истине. Первое (обличение. — *А. Б.*) положил на восьмой римский собор, и второе — на Лютера, безглавого зверя, и на его единомышленных блядословцев Кальвина, Сервета, Чеховича и Будного, обитающих в разных странах. Еще же сотворил слово от Священного писания на Фроддианово писание злоумное и на опресночную римскую службу и на иных отступников от правоверия, которые иначе мудрствуют»<sup>[23]</sup>.

В сочинениях Хворостинина против неправославных толкований христианского верования и церковного ритуала ясно показано, что его расхождения с Российской православ-

ной церковью были выдумкой судей. Не только воскресения и церковных праздников, но и почитания святых и икон писатель не отрицал. Он, по-видимому, считал необходимым более критически, чем было принято, подходить к канонизации святых и, как герой предыдущей главы – Артемий, видел в иконах прежде всего символ, напоминание о неких духовных ценностях и средство их познания (откуда проистекало его лояльное отношение к иным школам духовной живописи). Бытовое несоблюдение поста было связано как с жизненными обстоятельствами, так и с представлением о превосходстве духовного воздержания над физическим.

За что же тогда осудили Хворостинина? За чтение книг на ненавистном для отечественных церковников латинском языке? Это сыграло свою роль, но сам литератор понимал причину своего конфликта с церковной организацией глубже. Откроем предисловие к сборнику его полемических сочинений, озаглавленное: «Предисловие и слововещание читателям, содержащее нечто к родителям о воспитании чад»<sup>[24]</sup>. Здесь говорится о помещенных далее обличительных произведениях, но основное содержание предисловия посвящено... обоснованию и защите тезиса о пользе учености и необходимости учиться!

«Свирепое есть человеку неучение», – утверждает автор, приводя множество свидетельств Отцов Церкви о необходимости совершенствоваться учением ум. «Нерадеющие об учении своих детей лютому осуждению предаются. Такие (отцы) и детям своим убийцы бывают, и собственной души, потому что одинаково есть устроить свою душу и направить юного мысль», – считает Хворостинин, обосновывая необходимость давать детям образование, которое ценнее всякого богатства.

Человек, «если станет философом изначала», не может не занять видного места в обществе, как «среди множества больных не утаится здоровый». О таком пойдет добрая слава, и мудрый царь возвысит его над многими. Ученый человек всегда крепок, а тот, кто надеется на богатство, не заботясь ни о чем ином, может только покрывать свою злобу избытком серебра, ведь иной утешения для этой бедной души не существует. Богатство – это безумие: если не оставишь богатство – оставишь добродетель. Богатство отнимает мужество отстаивать истину и губит душу.

Советуя отцам больше заботиться об образовании, чем о богатстве детей, Хворостинин утверждает, что только мудрыми людьми спасаются престолы и расширяются государства. «Царям и владыкам подобает призывать мудрых» – ведь «суеумные советники... не только владык своих не спасут, но и сами с ними поражены будут». Темные советники хуже врагов, сколько их ни благодетельствуй царь – не будут ни милостивы, ни благодарны и «благодетелей своих убить не ужаснутся». На фоне дворцовых переворотов Смуты предупреждение, что царь легко потеряет трон, если не будет опираться на образованных и добродетельных мужей, звучало весьма остро.

Обличив царское окружение, способное лишь обжираться и упиваться на пирах, превращая ночь в день и называя горькое сладким, но не могущее даже вести войну, князь Иван Андреевич возносит похвалу людям, обладающим сокровищем благорассуждения. «Не созидают, – пишет Хворостинин, задевая уже и церковь, – такие сокровища своих ни на земле, ни на небесах, такие, Бога боясь и царя почитая, собирают вокруг него благоискусных людей. Поистине учение истина есть и истинные приобретают его, от учения бывает всякая правда и благоразумие. Учение есть благоразумие, оно просвещает очи сердечные, опаляя неистовство самохотных стремлений... ученые очи просвещают всякого идущего к добродетели, и праведный язык влечет к спасению!»

Здесь Хворостинин обрывает свои мечты и вспоминает о множестве просвещенных мучеников. И в России «мы или муками, или не муками от владык страдаем, бедствуем, насилуемы бываем, не по истине бываем возвышены, не по истине изгнаны и оскорблены». Что ж, заключает писатель, «желая воздаяние от Бога принять, будем принимать бьющего,

как милующего, и поносящего, как хвалящего». Этими словами, прежде обращавшимися Хворостининым к тени патриарха Гермогена, князь еще раз указывает нам, что пишет не просто предисловие, а обоснование своей позиции в конфликте с церковной властью.

Легко представить себе, что, открыто излагая свою позицию перед судилищем, перед патриархом Филаретом, который даже «божественное писание отчасти разумел», литератор предопределял свой приговор. «Ученый – значит еретик! Читает латинские книги – значит изменил своей вере!» – считали судьи. Поистине права народная мудрость: «Тяжел камень, и песок тяжек, но гнев дурака тяжелее обоих». Хуже того, Хворостинин не сдавался и не спешил покаяться. В заточении он пишет знаменитое «Изложение на еретики злохульники», формально направленное против папского престола, в действительности же обличающее общие пороки христианской церкви<sup>[25]</sup>. Из него мы подробнее узнаем, какие слова бросил Иван Андреевич в лицо своим обвинителям на освященном соборе в Москве.

«Изложение» опиралось на источник – южнорусский стихотворный полемический трактат, ныне известный ученым в двух редакциях. Но труд Хворостинина – не перевод, как считалось. Прежде всего, он почти на треть обширнее, а то, что было взято из источника, сильно переделано. Лишь немногие строки украинского трактата использованы в оригинале: остальные имеют значительные изменения, отражающие и поэтические пристрастия русского литератора, и его идейную позицию. Она для нас наиболее интересна, хотя нельзя не отметить, что как поэт Хворостинин стоял у истоков русской стихотворной культуры, а его поэма – крупнейшее из ранних отечественных стихотворных произведений, новаторское по форме стиха<sup>[26]</sup>.

Сочинение Хворостинина подписано, причем, во избежание утраты имени автора, он несколько раз назвал себя в акростихах (когда текст читается по первым буквам строк). Автор сознательно отказался от свойственной древнерусской литературе анонимности, ибо излагал личные взгляды, защищал собственную позицию. «Огнепальная погружает меня жития сего волна!» – писал Иван Андреевич, продолжая все же бороться за познанные им истины.

Не раз подчеркивая свою идейную связь с христианскими святыми, стихотворец сравнивает с их мучениями свои муки:

Муками и злыми томлениями осудили  
И воинов множество на мя вооружили.  
Велика была гнева их волна,  
Я обличитель был ереси их издавна  
И хотел нечто оставить народу,  
Христианскому священному роду...  
Простер руку мою на спасение,  
На еретическое известное потребление,  
И вместо чернил были мне слезы,  
Ибо закован был того ради в железы.  
В темницах пробыл много,  
Время там был долго<sup>1</sup>.

Между тем стихотворец не был преступником:

Я избегал несправедного золота

<sup>1</sup> Напомню, что в трудных для понимания местах цитаты мной адаптированы. – А. Б.

Как скверного поганого болота.  
Скрывался от крамольной злости,  
Не простер ей на писание трости.  
В полконачалии не показал спины врагам,  
Не сотворил обмана своим друзьям.  
Время печально было когда —  
Уповал на Сердцевидца всегда.

Но было в Хворостинине нечто, обрекавшее его на мучения:

Не привык с неучеными играть,  
Ни привычек и нрава их стяжать.  
Бедою многой изнемог,  
И никто мне не помог,  
Только один Бог,  
А не народ мног.  
Писал на еретиков много слогов,  
За то принял много болезненных налогов.  
Писанием моим многие обличились,  
А на меня как еретика ополчились.  
Отрывая меня от Святого писания —  
То было мне от них воздаяния!  
Как еретика меня осудили  
И злость свою на мя вооружили.  
Смотрите на наши злые нравы  
И будьте душами своими здоровы!

Злая ирония последнего двустипхия предшествует более конкретному обвинению поэта в адрес судей, которые, по его словам, подговорили клеветать на него холопов, обещая им волю. Измена домашних холопов, наглость, с которой они оговаривали своего хозяина, возмутила князя Ивана Андреевича едва ли не больше, чем само осуждение. Люди, которым доверял стихотворец, по его словам, «разрушили души моей палаты», «осквернили проклятьем порог души». «Дивно о тех, которые им верят!» – восклицает поэт в последней строке сочинения.

Как видим, хоть Хворостинин и призывал возлюбить врагов, сам не мог удержаться в непротивлении злу. Он еще в предисловии «К читателю» внятно объясняет, кто такие его судьи и за что они обрушились на него, он сам судит высокий церковный суд и выносит ему краткий приговор: «невежды», причем злые невежды. Посмотрим, как пишет Иван Андреевич о своей жизни.

«Я, возлюбленные, желатель был любомудрых трудов издавна, многое учение прошел со старанием более сверстников моих в роде моем... того ради и беды принимая многие... На войне командовал, в полках воеводствовал, с врагами боролся. Что реку или что возглаголю? Какой не принял беды?! Но по апостола Павла словам: «беды от родственных, беды в городах», беды в наследиях, многие скорби от владык, еще большие от властей, также и от церковников неученых, зря поставленных. Как камень была утроба моя, железа крепче сердце мое, не веселило меня вино, не услаждали яства. Всякое пьянство было противно моему нраву, но видя нечестивых, истаяло сердце мое, пьянством исполненное.

Говорили со мной языком, который не принимает свойство мое, чуждо было золото и серебро желанию моему. Я не совращался с царского пути, владыкам был верен во многом

и в малом, не уклонялся от них ни вправо, ни влево, не колебался в служении им и врагов их не возвеселил своей службой (довольно прозрачный намек на церковное и светское начальство, многократно менявшее позиции в Смуту)... Не умел, как некоторые, никому льстить, поэтому никому не угоден был, ибо не умел ковать ковы на братию свою православных христиан. Не прельстили меня честь и слава, не совратили меня к веселию, не хотел лишнего золота и серебра и не давал в рост серебро мое, не понуждал слуг своих мучительством жить и покушаться на чужие имения.

И что еще, безумный, скажу? Напоследок должен беды свои и сетования рассказать... Коего злого гонения не претерпел, коих напастей не испытал, коего зла не возвели на меня, коего ложного еретичества и ложных изменных малодушеств не приписали мне! Но, все это безвинно претерпевая, хотел когда нечто понять и написать от греческих и римских рукописей, когда (в сочинениях) полезное предложить. И было мне это запрещено, судим был от неученых невежд, объявлен еретиком. Странен я был в этой стране благодушных, обречен на поношение и стыд.

О беда, о скорбь! Как могу описать?! За это оказался в темницах, в оковах, в терпении, в изгнании, в заточении! Какого ложного от этих изменников навета на плечах своих не понес? Хлеб как пепел ел и питье мое слезами растворял; на ложе пребывал без сна, камнем стала постель моя. Пространны были пути, которыми я мог убежать от этого озлобления, золотая дорога была к дарованию моему, все родственники и братия моя заставляли меня, предупреждали, обещали волю, не желая видеть меня безвинно страдающим, только одно запрещали мне – Христа моего закон в образе креста...

Стихи Хворостинина ясно показывают, что его христианский закон не мог быть по нраву господствующей церковной организации. Недаром в поэме, обращенной против католичества, вставляет он обширное обращение «К архиереям о священном чине», относящееся к православным священнослужителям, не похваливая их в пику католикам, а обличая и поучая:

Преосвященные архиепископы,  
И вы, начальные священные епископы!  
Раз вы есть церковные столпы —  
Пасите внимательно неистовые попы...  
Все иерейские чины неучены,  
Тем они и унижены...  
Почему пастырь не предстоит,  
А овца с благочинием стоит?  
Это – пастырское исправление,  
Ибо имеют злое треволение...  
Смотрите, учите и законники,  
Не будьте сами беззаконники...  
Вы, священной Христовой церкви учителя,  
Не будьте прежде суда Божия мучители,  
Прогоните духов злосмрадных,  
Почтите мужей благородных,  
Не собирайте серебро и золото,  
Чтоб не пожрало вас греховное болото...  
Когда бывают смерти наши —  
Тогда обретаются корысти ваши!  
Даром вы приняли учительскую мзду...

Чтобы читатель не подумал, будто стихотворец не понимает связи между разложением и гонениями на инакомыслящих духовных властей и светской власти, в поэме помещена специальная строфа: «Молитва Христу Богу христиан, которые от неразумной злобы царей и правителей принимают многую неволю, еще же и от еретиков и человекоугодников».

От тех, кто на нас вооружается коварством всего света,  
Избавь нас, Господи, от их злого навета!..  
Они твой праведный закон по своей воле изменяют,  
Злочестивых к совести своей привлекают,  
Обманом и злыми бедами губят нас, как супостаты,  
Но не защитят от твоего гнева их палаты...  
Как бессловесных скотов нас имеют,  
Коварствами неправедными укоряют.  
Многие на себя проклятия наложили,  
Когда злыми, лукавыми нас обложили.  
Злую прибыли они себе утверждают,  
На нас души злостями вооружают!..

– пишет поэт равно о церковных и светских правителях России.

Обличая римскую церковь и римских пап, Хворостинин показывает, какую именно церковную организацию он считает порочной. Он критикует некоторые обряды и обычаи католиков, но главный его враг – богатая, стяжательская церковь. На корыстолюбие духовенства стихотворец обрушивается буквально в каждой строфе, повторяя свои обличения в десятках вариантов. Богатство и стремление к его приобретению, роскошная и растленая жизнь, продажность и властолюбие, жестокость и убийства – в такой ряд выстраиваются обличаемые Хворостининым пороки западной церкви, уклонившейся от христианского закона.

Раньше христиане, говорит поэт,

Не красили себя, как блудные жены,  
Были апостолов одежды небрежены.  
Города и села тысячами собрали...  
Во дни и ночи мамону стяжают,  
А людей божиих как колосья пожинают.

Священники «золото и серебро больше Христа любят», «духовный разум плотскими похотями заменили» и готовы на любое преступление, чтобы жить.

Во многих богатствах и телесных сластях,  
В славе и чести, во своих страстях.

Весьма актуально в правление Филарета звучало такое обличение папы римского:

Не меч носить апостол Петр заповедал,  
Но честный крест: в ином дьявола победа.  
Христов ярем повелевает тебе носить,  
А ты учишь братоубийство творить.  
Ты хочешь вечный святой устав разорить  
И не Богу, а себе всех покорить.

Собираешь сокровища бесчисленны  
И думаешь века жить несчетны.  
Обманным единомыслием льстишься,  
Патриархам и царям быть равен стремишься,  
Смущаешь богатством церкви всюду —  
За то да распадутся твои уды (члены. — А. Б.)!  
Ты судишь, корысти земные емля,  
И людей губишь, незаконно приемля.

Богатая церковь — продажная церковь, считает Хворостинин. «Многие ныне верою торгуют», за богатство «грехов отпущение подают, а благочестивых бедняков на смерть отдают», забыв, что сказано: «Не торгуй душой, вторую не купишь!» Богатство церкви — прямое отступление от божественного закона, и неудивительно, что незаконная церковь ненавидит благочестивых людей, привыкла их «яростно морить». Стяжательство заставляет церковь стравливать народы и государства, истреблять инакомыслящих, забывая призыв Христа: «Не убивать, но умирать за людей». Защищая свое богатство, церковники

Много золота на прельщение отпускают,  
А душевное благоразумие муками терзают.

Они уже давно не духовные пастыри, «но всему миру великие мучители» и «богоненавистные убийцы».

Сделав это заключение, Хворостинин сразу перешел к уже известному нам описанию своих гонений от православных церковников, чем еще раз подчеркнул общий характер описанных и обличенных им пороков богатой и господствующей церкви. Характерно, что стихотворец ясно представлял себе общую идейную основу западного и восточного христианства, отступление от которой было греховно и губительно как для католичества, так и для Русской православной церкви. Католики для князя Ивана Андреевича — не изверги, коих следует изничтожать, а обычные люди, уклоняющиеся в заблуждения и погружающиеся в пучину греха, что случается и с православными. В любом случае ненависть и братоубийственные войны между христианами, осуждение инакомыслящих и расправа над ними — страшные грехи, ставящие на совершающую или поддерживающую их церковь каинову печать.

Резкость суждений Хворостинина, который сам же призывал к смирению и всепощению, отражала глубокую духовную драму человека, отринутого и осужденного единоверцами. Горечь непонимания «московскими людьми» очень ясно проступает в стихах и прозе литератора. Апостольская миссия была не по плечу московскому аристократу, более склонному сетовать на духовный гнет в узком кругу, нежели выступить с публичной проповедью против господствующей церковной организации. Патриарх Филарет и церковные власти понимали эту особенность характера князя Ивана Андреевича и учитывали ее при определении своего поведения относительно «еретика».

В кружке понимающих его кирилло-белозерских книжников Хворостинин пробыл недолго. В ноябре 1623 года, узнав о послаблениях узнику, патриарх Филарет послал в Кириллов монастырь выговор игумену и братии. Чтобы те, кто питал симпатию к литератору, убедились в его прежнем «отступничестве» от православия, а сам Хворостинин глубже почувствовал свою духовную подчиненность правящей церкви, на Белоозеро был отправлен из Москвы «учительный свиток», опровергавший будто бы имевшее место суждение князя о воскресении мертвых. Свиток читался кирилловским монахам, а затем Хворостинин должен был торжественно отречься от обличенной в этом документе «ереси». По воле патриарха Иван Андреевич подписал «учительный свиток» в знак своего раскаяния, был «в

вере истязай и дал на себя в том обещание и клятву», что более не отступит от православия (читай: воли церковных властей) <sup>[27]</sup>.

Несмотря на отречение князя от его «ереси» (в которую он, скорее всего, не впадал), Филарет не желал, чтобы опальный князь жил без достаточно жесткого контроля. 11 января 1624 года в Кириллов монастырь была отправлена грамота с подробным перечислением всех «прегрешений» Ивана Андреевича, начиная со Смуты, завершавшаяся... его прощением! «И государь царь и великий князь Михайло Феодорович всея Руси, – гласила грамота, – и отец его государев, великий государь (так!) святейший патриарх Филарет Никитич Московский и всея Руси, по своему государскому милосердому нраву милость над тобой (Хворостинным. – А. Б.) показали, тебя пожаловали, из Кирилова монастыря велели тебя взять к Москве и велели тебе видети свои государския очи и быти тебе во дворянех по-прежнему».

Итак, Иван Андреевич был «освобожден», но в то же время монастырским властям было велено отправить его под стражей, которая должна была сдать «свободного человека» с рук на руки московским властям. В столице Филарету легче было организовать за литератором-вольнодумцем строгий присмотр. Не веря своему окружению, зная, что вокруг шныряют шпионы патриарха, Хворостинин под страхом новой, на этот раз несравненно более жестокой расправы вынужден был молчать. Нам неизвестно ни о его контактах этого времени, ни о сочинениях. Духовная смерть литератора ненамного опередила физическую смерть. Князь Иван Андреевич Хворостинин принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре и скончался там 28 февраля 1625 года. Он умер молодым, в возрасте около 35 лет, под именем Иосифа, преданного своими братьями.

Страх губил человеческое достоинство и растлевал жизнь. Даже аристократ и воевода князь Хворостинин не нашел в себе сил до конца противиться духовному гнету. Гневный трактат против страха написал другой русский литератор-вольнодумец – Антоний Подольский<sup>[28]</sup>. Он назывался «Слово о расслебленном, и немужественном, и изумленном страховании, писано к некоему другу»<sup>[29]</sup>.



*Филарет, патриарх Московский и всея Руси*

Не смиренное утешение, но яростное возмущение и протест звучит в строках, обращенных к охваченному страхом современнику Хворостинина и Филарета. Русский человек боится «до изумления», боится теней и стен, «не только привидений, но и себя боится и в отчаяние приходит», его пугает неизвестное будущее, ужасают раны и смерть, страшат «безвестные напасти», он становится «бесчувственен и безсловесен». Все это грешно и недостойно человека, считает Антоний Подольский.

Только тот «убоится страха», считает писатель, кто не имеет страха божия, не укрепил свой дух высокими идеалами. Ты боишься – значит, поклоняешься не Богу, который поднимает павших, милует и исправляет грешников; «не знаешь разве, что одному Богу подобает кланяться и его одного бояться и трепетать?! Пусть бояться и трепещут больше дьяволы от нас, имеющих царскую печать и непобедимое оружие, а не мы от них, потому что, Христовы воины и оруженосцы, кого убоимся?!»

Безумие – бояться тех, кто сам должен бояться. По-настоящему убежденный человек может понести раны, но души его никто не одолеет; он «ни царя не устрашит, ни тельцу золотому не поклонится». Человеку позорно не выносить с твердостью беды и глумления, не иметь терпения. «Что же такое терпение? – спрашивает автор. И сам отвечает: – Чтобы не болеть боязливой мыслью. Что значит не болеть? – значит ставить ни во что, значит быть мужественным». Что же такое мужество? Это вера, любовь и победа над врагами.

Ты дрожишь, говорит Антоний, значит, маловерен, ты боишься сказать слово... но «что есть церковь? Не вера ли наша?». Господь создал бесчувственные вещи и бессловесных скотов – но они пребывают в бесчувствии и бессловесии по своей природе. «Ты же как унижаешься и сам себя бессловесием погубляешь? Кто имеет власть над душою твоею, кроме Бога! Потому убойся Бога и устыдись ангелов – перестань малодушничать, ибо мы на камне веры утверждены от Создателя!»

«От безмолвия бывает страх», – афористически свидетельствует литератор, опираясь на Иоанна Лествичника. «Страхование – младенческий обычай в старой тщеславной душе... От тщеславия и от неверия страх рождается... Велико же малоумие ожидать нечаемого и о неизвестном печься!» – замечает Антоний в духе стоиков.

Он согласен, что незнание будущего часто рождает страх, но не склонен мелочно утешать своего адресата. «Ведай будущее, – пишет он, – ты умрешь и как все предстанешь перед Страшным судом». Так стоит ли трепетать, вместо того чтобы праведно жить? Антоний издевается над страхом перед перипетиями земной жизни, над тем, что его адресат боится бывать в некоторых местах (надо думать, во дворце, где действительно было опаснее, чем в других местах столицы). Чтобы изгнать страх, он советует как можно чаще бывать именно в пугающем месте, – а то смотри, как бы не состарился смех над тобой с тобою! Антонию смешно, что человек способен бояться жизни больше, чем вечной расплаты, и князя больше, чем Бога.

Не бояться следует, а бороться за правду, ибо правда спасает, как броня. Господь дал человеку необходимое оружие для спасения и победы над врагами, а теперь, по словам апостола, «время уже нам, лежащим и как бы спящим, восстать!».

Действительно, страх во времена Антония Подольского усыплял людей, старавшихся утопить свой мятущийся разум в вине. Пьянство было характерно для многих умных и честных людей России, какое-то время спасался вином от страшной действительности и сам писатель-публицист, пришедший в Москву в Смутное время из окрестностей Троице-Сергиева монастыря (где в начале XVII века располагался мужской Подольский монастырь). Как и Хворостинин, это был светский человек – подьячий, с 1614 по 1617 год работавший в Разрядном приказе, в его Денежном столе (отделе), занимавшемся финансовыми операциями и производством денег на Монетном дворе. Как и Хворостинин, помимо государственной службы Антоний Подольский много времени и сил отдавал самообразованию, изучал грамматику, поэтику, риторику, логику, философию, читал Священное Писание и труды Отцов Церкви.

Антоний, по-видимому, не участвовал в братоубийственной борьбе и народном ополчении против интервентов во время Смуты, не столь очевидны для него были ужасные последствия нетерпимости и идеологической конфронтации. Он вряд ли, по крайней мере в начале своей литературной деятельности, смог бы понять гуманную примирительную пози-

цию Хворостинина, но, в отличие от князя Ивана Андреевича, Антоний вступил в активную борьбу с пороками общества, не замкнувшись в камерном литературном творчестве.

Как яростный проповедник-полемист, Антоний Подольский выходит на площадь и читает свои труды перед народом, многих, как свидетельствовали его враги, увлекая за собой. Одно из первых его известных произведений – пламенное «Слово о многопотопном и прелестном пьянстве» (1619–1620 годы) <sup>[30]</sup>. Автору отлично знакомо это порочное увлечение, и, борясь с собой, он борется с опаснейшим общественным недугом, подхлестнутым Смутой и усиливавшимся под духовной диктатурой Филарета.

Помимо страха и пьянства, Антоний Подольский обличает стихами и прозой блуд, пишет и говорит «О слабом обычае человеческом», призывая заботиться «О чести родителей своих», рассуждает «О прелестном сем и видимом нами свете и о живущих нас всех человеках в Новом завете», «О человеческой плоти», а позже – «О царствии небесном, Богом дарованном и вечном, и о славе святых» <sup>[31]</sup>. При богатом богословском «антураже» автор выступает, как правило, с позиций простой, народной правды, ищет в мире справедливости к человеку.

Произведения Антония отражают его глубокую образованность и высочайшее почтение к знаниям, собранным в книгах. «Предисловия многоразличные» были одним из особых направлений его творчества. В стихах и прозе он говорил читателям о ценности предлагаемых им вниманию книг, в том числе знаменитого Русского Хронографа, повествующего о мировой и отечественной истории, «Философской книги Лавиринф» (перевода «Лабиринта мира» Яна Амоса Коменского), «Лествицы» Иоанна Лествичника <sup>[32]</sup>.

Сама жизнь давала Антонию Подольскому материал для нравственных проповедей, и его произведения складывались в весьма поучительную картину русской жизни после Смуты. Недаром они многократно переписывались и даже в конце XVII века декламировались публично, проникали и в монастыри, и в частные дома, и даже в царский дворец. Это неудивительно – ведь нравственная позиция Антония выражалась ясно и конкретно, его стихи и проза становились предметным уроком человеческой нравственности.

Литератор не боялся, например, обратиться с обличением к видному государственному деятелю, который под покровительством высоких властей ограбил своего подчиненного, и потребовать вернуть награбленное <sup>[33]</sup>. Антоний обвиняет начальника в том, что тот одержим недугом корыстолюбия, что его, как идолопоклонника, неудержимо влечет к серебру и золоту. Это страшная болезнь, заставляющая людей губить своих братьев и свою душу, неотвратимо влекущая к адскому огню. Конечно, пишет Антоний, Бог

Не повелевает никому никого осуждать,  
Но ведь не возбраняет и злые нравы обличать!  
Все мы по слабости своей грехотворители  
И сего прелестного и суетного мира любители,  
Каждый из нас своим грехом побежден бывает,  
За это наказаний от Бога много получает.  
Поэтому нужно друг друга поучать  
И от злого дела отвращать!

О тебе, обращается стихотворец к начальнику, уже идет недобрая слава как о насильнике и грабителе, отнимающем у бедняков последнее, заставляющем людей проливать слезы, оплакивая безвинно обвиненных. Антоний не может понять, как позволяет себе такое образованный, хорошо знакомый со Священным Писанием человек? В этом мире «многоковарный муж» оказывается правым, даже если и виноват, – но есть и высший суд! Не наноси

себе «душевный вред», обижая сирот, призывает Антоний, ибо такое «злохристианство» не будет прощено.

Злодейство начальника возможно только при условии разложения «верхов». Смотри, говорит Антоний, о тебе никто не скажет доброго слова,

Кроме твоих друзей и любителей,  
Таких же злых христианских томителей!  
Они тебя по своему нраву весьма похваляют  
И перед государем ложными словами защищают,  
А христианству никак не помогают,  
Но больше еще неправедными словами оклеветают.  
И государь наш к тем словам их приклоняется,  
А к христианству своему не умиляется,  
Но еще более немилосердным становится.  
Подбивший его на грех в рай не вселится!  
Государь вновь ложным словам веру емлет,  
А от бедных людей слов не приемлет,  
Продолжает бездельно их отсылать  
И на них же большую вину возлагать!

В этих условиях поэт может лишь просить начальника опомниться: «И к подручным твоим милость показать – у кого что взято, хоть немного отдать». Антоний красочно описывает бедствия человека, который «бедностью погибает и как ворон без крыльев между домов скитается... Бедность его всегда как ножом колет.

И ныне молю имеющуюся у тебя честность  
Не восставать на его великую бедность  
И милость тебе к нему свою показать:  
Хоть мало что ему, бедному, отдать,  
Чтоб ему, беспомощному, не погибнуть до конца,  
А тебе заслужить милость от Создателя и Творца.  
Если не слушаешь этого к тебе обращения —  
Берегись от Бога вечного мучения!  
Силен Бог за сирот своих мстить,  
Творящему зло добра не получить!  
Хотя и сам Божественного писания разумеешь,  
Нрава своего и привычек унять не умеешь.  
Лют, воистину лют человеческий нрав,  
Добро тому, кто ни к кому не лукав,  
Еще больше тому, кто никого не обидит,  
И всегда Божественное писание видит,  
И все исполняет по писания речению,  
И не исхитряется к человеческому мучению!»

Стихотворец не первый, кто пытался обратить начальника на праведный путь. Антоний знает об этом:

Слышал, что некто из друзей твоих к тебе писал,  
Чтоб ты от такого своего нрава и обычая отстал —

И ты ни за что слов его не слушаешь,  
А горести христиан как мед кушаешь.

Автор понимает, насколько трудно человеку переменить свой нрав и поведение, тем более что сам хорошо знаком с растлевающими душу отношениями в системе власти, в частности в приказах (центральных ведомствах России XVI–XVII веков). Там

Мзда и у самых мудрых очи ослепляет.  
Нас же с тобой неудивительно ослепить,  
Поскольку мы в обычных чинах поставлены быть.  
Однако ты ум и смысл собственный имеешь,  
И Божественное писание разумеешь,  
И отличаешь доброе от худого:  
Потому не держи обычая злого!

Ранние российские бюрократы еще не настолько заостенели в злодействе и эгоцентризме, чтобы на них не могло воздействовать произведение нового для того времени искусства стихотворной речи. Как ни странно может показаться современному читателю, но начальник-грабитель, получив послание Антония, по-видимому, вернул награбленное сторицей. По крайней мере, Косой, за которого просил поэт, вскоре стал богат, продвинулся по службе, приобрел влияние при дворе. Следующее стихотворное послание Антония показывает, что из этого вышло.

Возвысившись, Косой прямо-таки «бесовской», «безумной гордыней усвирепел». Антоний был поражен, как быстро переменялся этот образованный, хорошо знакомый со Священным Писанием человек. Косой не только гнушался своим благодетелем, но насмеялся над ним, всячески поносил, обращался как со псом и звал к себе только для того, чтобы унижить. Моральную проповедь Антония, оказавшую ему такую помощь, Косой презрительно называл юродством. В отличие от своего старого начальника-грабителя, выскочка не мог оценить идею честной бедности, которую проповедовал стихотворец. Общение с ним, пишет Антоний, стало невозможно:

Ныне ты по царской милости разбогател,  
Потому нами, убогими, и возгордел.  
Но может Бог, дав, и отнять,  
А не творящему добра – добра не видать!  
Хотел было с тобою знаться,  
Но нельзя убогому с богатым соединяться,  
Тем более недостойно с ним дружбы держать:  
Каждому нужно свой круг знать  
И выше себя (друзей) не искать...  
Невозможно агнцу с волком жить  
И убогому с богачом дружбу водить,  
Еще хуже – смиренному с гордыми и величавыми,  
И нравами, и обычаями лукавыми.

«Гордые и величавые», по мнению Антония, еще хуже простых корыстолюбцев и грабителей от власти, ибо они принципиально отвергают совесть и мораль. Они – настоящий бич русского общества, и Антоний не случайно говорит Косому:

Вспомни прежних гордых и злых царей,  
Этих лютых и неистовых зверей,  
Как они за злую гордость зло пропали  
И в Адскую пасть душами своими впали!

Взывать к совести новоявленных «гордых и величавых» бесполезно, только угрозы и прямые обвинения доступны их уму. Смотри, угрожает Антоний:

Как бы ты не пришел в прежнее состояние  
И не стал для всех людей в посмеяние.  
И это письмо писано к тебе досадительно,  
Однако будет тебе и вразумительно,  
Потому что такому заблуждению возбраняет  
И твое безумие обличает.  
Хоть и много ты знаешь Божественного писания,  
Но не способен стоять против бесовского запинания.

Стихотворец знает, что все его слова бесполезны: «гордых и величавых» невозможно исправить, их уши закрыты для правды:

Больше я не буду к тебе писать,  
Заткнутым ушам меня не услышать,  
Также гордым и величавым,  
Такие не внимают словам здравым,  
На свою гордость и упрямство уповают  
И добро как зло принимают...  
Этому писанию здесь коынец,  
А творящему зло не будет от Бога венец!

Мы видим, что все «богословие» Антония Подольского в этих стихах сводится к признанию существования некоего высшего гаранта простых моральных принципов. Как и в других своих произведениях, литератор идет скорее от народных взглядов на правду и справедливость, чем от христианской философской традиции. Народные поверья он отстаивает и в церковном споре, разгоревшемся накануне возвращения в Москву из польского плена Филарета Никитича. Здесь, как и в проповедях на площади, и в стихотворных посланиях, в делах и судьбе Антония отражаются драматические, а порой трагические черты послесмутного времени.

Я уже упоминал о жестоком осуждении церковным собором группы ученых монахов и священнослужителей, под руководством Дионисия Зобниновского сверявших между собой греческие и русские списки Потребника, чтобы исправить накопившиеся за века ошибки. Архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий, славный руководитель обороны этой обители от интервентов и один из вдохновителей всенародного ополчения в Смуту, при всей видимой кротости характера занялся делом, которое другие считали своим. Ожесточенные нравы привели к столкновению с трагическим исходом.

Уставщик Троице-Сергиева монастыря Феофан, украшенный «сединами добрыми старец», более полустолетия проживший в монастыре и более сорока лет ведавший в нем уставом богослужения, возмутился и воспротивился указаниям, которые начал давать Дионисий. Еще более оскорбился выдающийся мастер церковного пения и чтения, троцкий головщик

(руководитель хора) Логин Корова, когда Дионисий позволил себе поучать его в музыкальной области. Остроумный, не лазающий за словом в карман музыкант не без яда отвечал:

Погибли места святые от вас, дураков,  
Везде вас теперь много, неученых сельских попов,  
Людей учите, а сами не знаете, чему учите!

Когда же Дионисий стал распоряжаться на клиросе (где стоял церковный хор), Логин выразился еще резче:

Не ваше дело петь или читать —  
Знал бы ты одно, архимандрит, с мотовилом своим  
на клиросе как болван онемев стоять! <sup>[34]</sup>

Начало исправления Дионисием с товарищами Потребника Логин воспринял как прямое покушение на свое дело — ведь в Смуту, при Шуйском, именно он готовил к печати церковные уставы. Среди книжников начались споры, сопровождавшиеся взаимными оскорблениями. О том, насколько запальчиво вели себя противники, свидетельствует, например, высказывание Логина, в ярости назвавшего «хитрость грамматическую и философов книжное» еретичеством.

Так считали, конечно, не все противники Дионисия и его товарищей, но тон, взятый Логином, был близок сердцам многих представителей высшего духовенства и незамедлительно нашел отклик. Вскоре обнаружился и повод, чтобы «обличить» Дионисия, который внес изменение в молитву на водоосвящение. Из фразы «Прииди, Господи, и освяти воду сию Духом твоим и огнем» справщики вычеркнули окончание: «и огнем». Дионисий с товарищами (по-видимому, справедливо) сочли, что это добавление ошибочно, привнесено писцами. Но многие, пользовавшиеся Потребником с добавленными словами, искренне считали, что Святой Дух — это огонь. Таково было народное поверье, особенно близкое сердцу ремесленников, имевших дело с огнем. Так верил и Антоний Подольский.

Литератор не устоял перед искушением обличить «ересь» Дионисия и его товарищей. Антоний написал обширный богословский трактат «О огне просветительном» (известный в изложении Ивана Наседки)<sup>[35]</sup>. Вооруженные этим обоснованием своей позиции, противники Дионисия воспрянули духом. Уставщик Феофан, гимнограф Логин и троицкий ризничий дьякон Маркелл донесли церковным властям, что в Троице-Сергиеве монастыре свила гнездо ересь: сам архимандрит с Арсением Глухим и другими монахами «Духа Святого не исповедуют, яко огонь есть» и вообще хотят вывести огонь из мира! Машина церковного суда закрутилась...

В Москве, где ждали возвращения из плена царского отца, чтобы «избрать» его на Патриарший престол, во главе церковной иерархии стоял крутицкий митрополит Иона. По его повелению объявленные еретиками люди были схвачены и доставлены в столицу. В течение четырех дней Дионисия с товарищами «с бесчестьем и позором» приводили из места заключения на патриарший двор, по дороге издеваясь над ними и избивая их. Затем «расследование» было перенесено в Вознесенский монастырь, в келью царской матери Марфы Ивановны, некогда насильно постриженной в монахини.

Никто не задавался вопросом, какое отношение пожилая монахиня имеет к вопросам богословия, — она представляла собой власть, и этим все было сказано. В судилище над Дионисием с товарищами особенно ярко проявилось единодушие духовной и светской власти в деле преследования инакомыслящих: они шли рука об руку по незаконному пути тирании. При этом ученые люди, представляя свои споры на суд невежд, способствовали взаимоис-

треблению. На этот опасный путь ступил и Антоний Подольский, трактат которого использовался невежественными и жестокими судьями как жупел. В горячке спора с Дионисием Антоний явно не вспоминал часто повторявшиеся Хворостининым слова, что «лучше биту быть, а не бить».

Напротив, проповеди Антония Подольского собирали толпы народа, особенно ремесленников. Они поджидали провода арестованных, чтобы осыпать закованных в кандалы людей плевками и грязью, избивали их, вопили оскорбления и улюлюкали. Но Дионисий проявил величайшее мужество и несгибаемую твердость духа. Он улыбался под плевками толпы и скованными руками благословлял издевающихся над ним. На патриаршем дворе, в келье царицы-инокини, на освященном соборе он много часов защищал свою позицию учеными аргументами, терпеливо разъясняя необходимость сравнения многих списков для исправления отечественной церковно-служебной литературы, несмотря на явное непонимание судей, заранее решивших расправиться с ним. Даже малодушие товарищей (в частности, Арсения Глухого), испугавшихся расправы и искавших оправданий, не смутило Дионисия. Он продолжал стойко защищать истину.

Низость судей была настолько велика, что в какой-то момент церковный суд чуть было не превратился в фарс: в наказание за «еретичество» корыстолюбивые церковные иерархи определили... взять с Дионисия штраф в огромную по тем временам сумму – в 500 рублей серебром. Трудно было придумать большее саморазоблачение! Стяжательское духовенство не побоялось открыто мерить благочестие деньгами (как тут не вспомнить, что писал Хворостинин якобы о католиках). Эта позорная финансовая операция, однако, не удалась.

С улыбкой глядя на своих судей, игумен богатейшего в России монастыря, не приобретший лично никакого имущества, спокойно ответил: «Денег у меня нет, да и дать не за что: плохо чернецу, когда его расстричь велят, а достричь (то есть обречь на жизнь в самых жестких условиях, подобно схимнику) – то ему венец и радость. Сибирью и Соловками грозите мне – но я этому и рад, это мне и жизнь!» Дионисия пришлось осудить на заточение в Кирилло-Белозерском монастыре (куда вслед за ним угодил Хворостинин).

К характеристике осудивших Дионисия следует добавить, что они просто не могли себе представить, что троицкий архимандрит мог «не стяжать» изрядное богатство. Надеясь вырвать у него деньги, узника продолжали пытать еще сорок дней, непрестанно избивая, мучая и моря дымом. Гибель Дионисия была предопределена, однако... в Москву торжественно прибыл обмененный на полковника Струся митрополит Филарет Никитич, незамедлительно сделанный патриархом.

Столь же незамедлительно Филарет показал, что «новая метла по новому метет». К счастью для Дионисия и его товарищей, он заинтересовался накопленным без него опытом преследования еретиков и остался им неудовлетворен. Патриарх догадался спросить бывшего тогда в Москве иерусалимского патриарха Феофана: «Есть ли в ваших греческих книгах прибавление: “и огнем”?»

– Нет, – ответил Феофан, – и у вас тому быть непригоже; добро бы тебе, брату нашему, о том позаботиться и исправить, чтоб этому огню в прилоге (ненужном дополнении. – А. Б.) и у вас не быть.

В этой беседе, переданной современником, есть одна существенная деталь, опровергающая версию о поиске Филаретом истины: ведь еще до ответа Феофана он называет слова «и огнем» прибавлением! Ясно, что для себя Филарет уже решил, кто прав, а кто виноват, и единолично пересмотрел приговор соборного суда.

Теперь костоломный маховик сделал полный оборот, и те, кто его толкал, сами попали под колесо. В начале лета 1619 года в Москве, в патриаршей палате, начал заседания освященный собор с участием двух патриархов – московского и иерусалимского. На этот раз

обвинителем выступал оправданный архимандрит Дионисий, державший свою речь более восьми часов. Дионисий с товарищами был освобожден из-под стражи и смог вернуться в Троицу. Логин, старец Филарет, дьякон Маркелл и конечно же Антоний Подольский были прокляты как еретики и в цепях отправлены в «места не столь отдаленные».

Место несгибаемого Дионисия занял столь же несгибаемый Антоний Подольский, не сломленный пытками и издевательствами, продолжавший отстаивать свои взгляды и на суде, и в ссылке, а потому уготовивший себе наиболее жестокую участь. Его упорство произвело известное впечатление даже на патриарха Филарета, усомнившегося в правоте своих советчиков. Не то чтобы Филарет поколебался вынести приговор – этого от него нельзя было ожидать. Но при отъезде из Москвы патриарха Феофана он потребовал: «Тебе бы, приехав в Греческую землю и посоветовавшись со своею братьею, вселенскими патриархами, выписать из греческих книг древних переводов, как там написано о Святом Духе».

Патриарх подозревал, и справедливо, что сторонники Дионисия вошли в соглашение с приезжими греками, но не знал, способен ли иерусалимский патриарх ради этого соглашения солгать (ведь сам Филарет в этих книжных тонкостях не разбирался). По приезду на Восток патриарх Феофан выполнил просьбу своего московского собрата и вместе с антиохийским патриархом Герасимом прислал в Москву грамоту против прибавления в водосвятной молитве слов «и огнем». Между тем в российской столице продолжалось устное и письменное «обличение» Антония Подольского: пострадавшие от его проповеди ученые мужи энергично добивали коллегу. Против его трактата был пущен в оборот обличительный трактат. Взамен обвинений группе Дионисия в неверной правке Потребника Антоний был обвинен в искажениях при подготовке к печати Псалтыри (изданной уже после его заточения, 3 октября 1619 года).

К счастью, не все направленные в Антония стрелы долетали до далекого северного края, куда он был сослан. Многие там зависело не от церковных властей, а от вполне самовластных воевод, нуждавшихся в толковых администраторах. Антонию сравнительно недолго пришлось терпеть голод и холод в оковах и заточении. В 1621/22 году он стал помощником Мирона Андреевича Вельяминова в описании земель, лежащих вдоль Северной Двины. В 1624 году государевы писцы завершили свой огромный труд, и Вельяминов отправился с результатами валовой переписи в Москву за наградой, а Подольский остался в ссылке. Однако его заслуги были учтены: в 1626 году он был направлен в более теплые края. Получая свое прежнее (разрядное) и довольно высокое годовое жалованье в 33 рубля, ссыльный занимался организацией производства селитры в Козельске.

Сведений о дальнейшей службе Антония Подольского в документах не имеется, и положение ссыльного, по-видимому, вновь ухудшилось. Как раз в это время от двора патриарха Филарета расходилась по стране новая волна реакции, отмеченная сожжением в 1627 году «Учительного Евангелия» Кирилла Транквилиона «за слог еретический и составы, обличившиеся (обнаруженные) в книге». Тогда же изданный Печатным двором Катехизис Лаврентия Зизания был запрещен к выпуску в свет. В следующем году гонения охватили уже всю церковнославянскую литературу «литовской печати», выпущенную православными типографиями Белоруссии и Украины, входившими в состав Речи Посполитой. Эти книги массово изымали из церквей, заменяя их произведениями московского Печатного двора, конфисковались они также у частных лиц, как повально «еретические». Подозрения пали и на греческие книги, издававшиеся в западноевропейских типографиях. О латинских книгах вообще не было речи – их давно зачислили в разряд содержащих «яд ереси».

Казалось, власти должны были забыть о ссыльном, подававшем о себе вести разве что проникнутыми глубоким чувством симпатии письмами к своим немногочисленным доброжелателям. Но не таковы были ученые книжники, помнившие выступление Антония против группы Дионисия, и не таков был патриарх Филарет. Усиление при патриаршем дворе

прогреческой группировки бывших соратников Дионисия отразилось на судьбах их бывших противников. В 1633 году в Москву прибывает александрийский архимандрит Иосиф, которому доверяется перевод греческих книг на славянский язык; в столице открывается греко-латинское училище Арсения Глухого; издается патриаршая грамота против Логина Коровы.

Вспоминая еще более давние события, чем соборы 1618–1619 годов, грамота Филарета повелевает отбирать все печатавшиеся при Шуйском церковные уставы, «потому что эти уставы печатал вор, бражник, Троице-Сергиева монастыря крылошанин (певчий. – А. Б.) чернец Логин, и многое в них напечатал не по апостольскому и не по отеческому преданию, а самовольством». В грамоте звучит настолько свежая ненависть к сторонникам «огня», что им явно нужно было ждать усиления преследований. Так и произошло.

Антоний Подольский к этому времени, наученный горьким жизненным опытом, многое переоценил в своем поведении. В стихотворном послании к просвещенному и многоученому духовнику Симеону Федоровичу поэт и проповедник жалуется на свое неразумие, хотя, пишет он о себе, «философское быстрозрительное учение разумно познал». Теперь Антоний высоко ценит «кротость духа», а не только «остроумное разумение» и горько сетует на совершенные по буйству своего характера грехи. Раскаяние гнетет стихотворца не меньше, чем бесполезное, оторванное от жизни страны существование.

Хочется верить, что, осознав гибельность взаимообвинений ученых людей в еретичестве перед лицом всегда готовых казнить невежд, Антоний Подольский, будь ему позволено, уже не повторил бы своих обвинений против Дионисия Зобниновского. Но это не значит, что литератор изменил своей позиции относительно «огня». Он продолжал твердо стоять на своем, даже когда был вновь закован в цепи и привезен на очередной, на этот раз последний, суд в Москву в конце 1633 – начале 1634 года. Антония должны были убить – и он встретил убийц с достоинством истинного русского писателя.

О мыслях и чувствах Антония Подольского в этот критический момент свидетельствует его письмо бывшему товарищу и единомышленнику, игумену Богоявленского монастыря и справщику Печатного двора Илье, написанное из темницы в ожидании судебной расправы. Это письмо и ответ на него, недавно изученные и опубликованные, являются трагическими и достоверными документами эпохи, отражающими важные явления в русском обществе и в православной церкви первой половины XVII века.

«О святой божий человек, – пишет Антоний, – почто забыл нищету и печаль нашу! Или не ведаешь, что уже липнет земля к гробу нашему из-за безмерных скорбей и нестерпимых печалей, выстраданных в изгнании в дальних странах. И еще лютее страдаю ныне в царствующем граде, связан узами железными и не ведаю, зачем привезен сюда царским повелением.

– Писание говорит: Братья, в бедах помощниками бывайте! За это и благодати от Бога бывают. И еще: Тебе оставлен нищий, сирому будь помощник! – Это же самая истина и жизнь говорит. Больше той любви никто не имеет, кто положит душу свою за друга своя. И еще: В темнице был и пришли ко мне. И что ты сделаешь нам, убогим, – пишет Антоний о себе, – то самому Богу сотворишь.

– Зачем же отклонил стези наши от пути твоего и забыл нас в месте озлобления? Разумей, как от утра до вечера изменяется время, так все скоро пред Богом! В досаде пишу. Потому что мы изнемогаем, а ты сыт, ты обогатился и без нас царствуешь. Спишь на богатой постели, ешь мясо от тучных стад, пьешь цеженое вино, мажешься древними благовониями – и нисколько не страдаешь о сокращении нашем.

– Люта болезнь, и язва без исцеления, потому что сонм державных ищет взять душу мою! Не ведают они милости Божией и забыли сказанное апостолом: “Если кто впадет в некое прегрешение...” И прочее всем ведомо. Сын Божий – сын человеческий пришел взыс-

кать и спасти погибшего. Не праведных пришел он призвать на покаяние, но подобных мне, грешному. Он в девяносто девять раз больше радуется о спасении погибшего!

– Пастыри же настоящего века уклонились против меня в беззаконие и в лютом гневе враждуют на меня. И возненавидели меня, как врага истины. Они говорят против меня зло вместо благого. И питают непримиримую ненависть за мою любовь. И не уподобляются ни в чем общему нашему Владыке и Благодетелю.

– Они (церковные иерархи. – *А. Б.*) восприняли против меня лютость древних мучителей и губят меня, нищего, дальним заточением. Они своей злобой отягчились... Я, убогий, даже во время смерти их (то есть патриархов Филарета московского и Феофана иерусалимского. – *А. Б.*) не получил от них разрешения (от анафемы) и не слышал даже письменного прощения.

– С тех пор (после соборного суда. – *А. Б.*) и по сей день наместники их люто на меня скрежещут зубами своими, преследуют многими темницами, стужей и голодом, и неразрешимыми узами вяжут меня, нищего, и хотят уморить злой смертью...

– И ныне знай, возлюбленный, разве, кроме тебя, есть кто, имеющий разум понимать тонкость настоящего богословия, и светозарную правоту философии, и подлинную правду грамматического учения о восьми частях слова?! Ты действительно знаешь, что именно они подвигли меня против всякой неправды в книжном писании, о которой ты и сам ведаешь и, знаю, из страха молчишь. Я восстал на всякую неправду сильных сего века, сердце вопиет на нее в уши господа Саваофа.

– Как пищаль медная скорбь наша. Разграбленные имения, нищета и позор кричат к тому, кто хочет праведно судить вселенной, кто отнимает дух князьям и страшен больше царей земных! Тому слава ныне и в день века. Аминь».

Так взывал Антоний к своему бывшему другу и соратнику, единомышленнику и собеседнику, желая получить в тяжелый час даже не помощь, но хотя бы слово сочувствия. И получил ответ Иуды – но не раскаявшегося, а гордого в своей измене и кичащегося предательством. Как человек, которого Антоний спас от нищеты, разбогатев и возвеличившись стал злом большим, чем прежний грабитель (который сохранял все же остатки совести), – так и ученый искатель истины, заняв теплое место в церковной иерархии, ныне бил Антония сильнее, чем невежественные судьи на соборном суде.

Ответ богоявленского игумена и ученого справщика Печатного двора Ильи Антонию Подольскому является образцом апологетики смиренной покорности духа и полон проклятиями «самомыслию». Илья не просто подчинил свой ум начальственным указаниям, он вдохновенно проповедовал идеи «хождения по одной половице», суждения «не выше сапога» и воспевал бессмертный лозунг: «Не рассуждать!» Его послание Антонию – важное свидетельство из истории формирующейся российской интеллигенции, испытавшей уже в зачаточном состоянии тяжелое давление Великого разорения и Смуты. Послание показывает, как, пораженные ужасом истребления инаковерия и инакомыслия, ученые, книжные люди сами становились винтиками машины духовного гнета, которая утрамбовала под один уровень общественную мысль, беспощадно давя все сколько-нибудь выдающееся, отличное от других.

Антоний забыл, что его старый друг стал винтиком церковной организации. Илья об этом напомнил. «Как смел ты дерзнуть, – писал он Антонию, – в исповедании православной в Троицу Бога веры изменить установление о исхождении Святого животворящего Духа, утвержденное вселенскими соборами?! За это – и изгнание в дальние страны, и озлобления, и скорбь немалую терпишь, и здесь (в Москве. – *А. Б.*) в оковах и узах страдаешь, пока не покаешься начисто!»

Антоний взывал к милосердным идеям Нового Завета – Илья с восторгом приводил ветхозаветные прецеденты жесточайших наказаний за малейшую ошибку, даже за проступок, совершенный с лучшими намерениями. Обращение Антония с просьбой о сочувствии кажется Илье нелепым. Если бы еретик валялся в ногах у церковных иерархов и, рыдая, молил о прощении, его еще можно было бы «исправлять духом кротости». Те же, кто отличается «упрямством и самомнением», не заслуживают жалости – «да устрашатся и прочие!». Идея милосердия настолько чужда тому, кто стал частью церковного аппарата, что Илья небрежно бросает: зачем жалеть человека, не позаботившегося о язвах на своем теле, вызвавших лихорадку, нагноение и смерть? Что же тогда говорить о человеке, обезумевшем настолько, что «прельщается самосмышлением»? Ясно, что его надо уничтожить, как нарыв, но Илья переходит к этому очевидному для него итогу не сразу, а вдоволь поиздевавшись над надеждами своего бывшего единомышленника, пространно оспаривая все тезисы послания Антония.

«Ты начальственнно повелеваешь нам разуметь, – пишет Илья, – как с утра и до вечера изменяется время – а сам не одно уже, не два, не три лета, но множество в прежнем своем дерзком неистовстве пребываешь, не изменяясь, как рысь не может сбросить пестроту свою или негр – черную кожу свою». Негибкость Антония, его неспособность приспособливать свои взгляды к требованиям изменчивого времени вызывают у Ильи резко отрицательное отношение. Ведь Антоний – не начальник, не пастырь душ, а подначальный, овца в общем стаде, и должен идти, куда пастух гонит все стадо. Иной путь – мятеж! «А о сытости, и о цеженом вине, и о прочем мирском напоминаешь мне – и это все так! – не может не похвалиться Илья наградой за свое послушание. – Но берегись, да не впадешь в фарисейство». Каждому свое: мятежнику – цепи, послушному – недостаток.

Потерять недостаток страшно. «Вспомнил ты о пастырях, как приписали тебе беззаконие, и говорят на тебя зло за благо, и отвечают ненавистью на любовь твою, и не уподобляются ни в чем нашему Владыке и благодетелю, и, будто древних мучителей лютость восприняв, губят тебя дальним заточением, – отвечает Илья узнику. – И ты, не знаю, о каком способстве пишешь к нам?!»

Илья испуган, он даже не понимает, как можно помогать «непокорному», наказанному начальством? «Если кто и мало что-то скажет против начальников, хоть они и злые», – это грех. Ветхий Завет гласит, что даже злодеев в начальстве нужно слушаться беспрекословно. Так «какой милости достойны те, кто церковных председателей, благодатью Божией с тихостью живущих, оплевывают и попирают?!» Ты, пишет Илья Антонию, подчиненный, и за такие слова о начальстве тебе нет прощения! А за изменение церковного догмата ты недостойн милости.

Как же быть с ученостью, которую столь ценит узник, с тонкостью богословия, правотой философии и правдой грамматики? «Мы не всезнающи, – отвечает Илья, – но если что и знаем – отчасти знаем, поскольку Бог открыл нам к чистоте и просвещению разума, а не к поощрению на всякую неправду книжного писания». Это дьявол соблазняет применять свою ученость там, где не надо. «Где в грамматике указано изменять исповедание православной веры или мать всем божественным книгам – псаломскую книгу Псалтырь, которую ты смел во многих местах изменить? Не найдешь об этом не только в грамматике, и риторике, и в диалектике, но ни в одном из учений семи свободных мудростей! Увы, дерзости! Подобаает всей силой держаться церковного чина, ибо тот указывает каждому, что подобает на пользу и исправление жизни христианской, а не грамматика, не диалектика, не риторика и прочее!»

Ты, пишет Илья Антонию, логику «ложно и развратно воспринял», она, как и все науки, не дает права на инакомыслие. «Ино мыслящий» – значит смущающий, а смущающий – значит развращающий. Известно, что малая закваска квасит «все смешение». Поэтому инакомыслящие от общества должны быть «отсечены». «Не к тому нас призвал Господь, чтобы

колебаться!.. Может и малое прегрешение, оставаясь неисправленным, в совершенное зло привести». Иными словами, пощады инакомыслящему не будет.

Только немедленное и полное «раскаяние» Антония Подольского, может быть, еще поможет обреченному. Тогда, заключает Илья свое высокомерное послание, «и мы, поелику можно... можем способствовать к исправлению, а не к сомнению твоему. Короче, да вложит тебе Бог в сердце начисто раскаяться. Ему же слава вовеки. Аминь!»

Антоний Подольский убедился, что ни милости от церковных иерархов, ни поддержки от ученой братии ждать не может. Даже смерть патриарха Филарета не отменила готовящейся расправы над литератором-вольнодумцем. Материалов второго церковного суда над Антонием не сохранилось. Письмо бывшего друга, оправдывавшего беспощадную расправу за малейшее отступление от общей, санкционированной сверху «истины», достаточно ясно свидетельствует об атмосфере, в которой проходил церковный суд. О приговоре гадать не приходится – еще один русский писатель навеки умолк, раздавленный машиной для утверждения единомыслия.

Но не умолкли произведения Антония. Еще более популярные, чем сочинения князя Хворостинина, они распространялись и переписывались, читались и декламировались. Как зеленые побеги через каменную кладку крепостной стены пробивались вольные слова к русским людям, ожесточенным идеологической конфронтацией и запуганным репрессиями, но еще до конца не сломленным, не потерявшим человеческий облик. Рукописи горели на кострах доморощенных инквизиторов, но «мрак невежества» освещался и сиянием свободной мысли с исписанных бумажных страниц.

\* \* \*

Горячее попечение патриарха Филарета Никитича о единомыслии, свирепые меры вкоренения в людские души ненависти к иноверию и иномыслию, пресечение малейших отклонений от установленных церковных правил не дали и не могли дать положительных для церкви результатов. Сама вера все более сводилась к ритуалу, к соблюдению внешних форм, буквы, а не духа. Закаленная в огне Смуты жестокость не укрепляла, а разрушала устои Российской православной церкви. Дело еще не дошло до взрыва, расколовшего ее здание при патриархе Никоне, но после смерти Филарета новый патриарх – Иоасаф (с 1634 года) вынужден был подводить горестные итоги.

«В царствующем граде Москве, – писал Иоасаф, – в соборных и приходских церквях чинится мятеж, соблазн и нарушение вере, служба Божия совершается... со всяким небрежением, а мирские люди стоят в церквях с бесстрашием и со всяким небрежением, во время святого пения беседы творят неподобные со смехотворением, а иные священники и сами беседуют, бесчинствуют и мирские угоidia творят, чревоугодию своему последуя и пьянству повинуюсь... Пономари по церквам молодые без жен; поповы и мирских людей дети во время святой службы в алтаре бесчинствуют; во время же святого пения ходит по церквам шпана, человек по десятку и больше, от них в церквях великая смута и мятеж, то они бранятся, то дерутся... иные притворяются малоумными... иные во время святого пения в церквях ползают, писк творят и большой соблазн возбуждают в простых людях... Всякие незаконные дела умножились, эллинские блядословия, кошунство и игры бесовские... да еще друг друга бранят позорною бранью – отца и мать блудным позором – и всякою бесстыдною нечистою языки свои и души оскверняют»<sup>[36]</sup>.

Страх и ненависть – эти ядовитые цветы Смуты, бережно взращивавшиеся высшей властью, – отравляли души, наполняя воздух России своим тлетворным запахом, запахом застенка, костра и плахи. Но человек был неистребим, и белые гусиные перья продолжали

летать над бумагой, призывая к свободе духа, любви, милосердию, бескорыстию, мужеству и познанию.

## Глава III

### Раскольники

Зимняя вьюга отодвинула рассвет над Москвой, подняв снежные вихри выше Ивана Великого. Злой ветер с острой снежной крупой пронизывал насквозь бедное одеяние священника, вытертое годами тюрем. Меж кремлевских соборов, под продуваемыми ветром дворцовыми переходами кучка красноносых стрельцов в тулупах и лисьих шапках вела в Чудов монастырь очередного узника на суд и расправу. Окна большой монастырской трапезной, куда направлялся конвой с подсудимым, от горящих внутри свечей светились багровыми огоньками, напоминая пролитую кровь мучеников старой веры. Патриарх Никон, безжалостный гонитель тех, кто осмеливался противостоять его произволу, давно оставил престол, а только что был осужден и лишен сана еще более высокой церковной властью – тем самым большим собором, что, покончив с Никоном, принялся за искоренение противников его реформ<sup>[37]</sup>.

Когда стража втокнула бедного священника из теплых сеней в трапезную, его глаза, привыкшие к мраку подземелья, не сразу нашли икону в красном углу: все вокруг сверкало драгоценностями. Золото и серебро покрывало богатые мантии высших церковных иерархов там, где они не были затканы жемчугом. Алмазы и изумруды, рубины и сапфиры резали глаз искристым блеском. Всплески холодного пламени летели с крестов и пананий<sup>2</sup>, посохов и митр, с окованных драгоценными металлами переплетов книг, с золотых тронов вселенских патриархов, с одеяний царских сановников. Вся палата была заполнена высокими церковными и светскими властями, один вид которых должен был подавить всякое поползновение к сопротивлению и противоречию воле большого собора.

Среди его участников на центральных тронах сидели два вселенских патриарха – Паисий Александрийский и Макарий Антиохийский. Пять митрополитов представляло константинопольский патриархат: Григорий Никейский, Козьма Амасийский, Афанасий Иконийский, Филофей Трапезундский, Даниил Варнский, и еще один архиепископ – Даниил Погонийский. Иерусалимский патриархат и Палестину представляли митрополит Паисий Газский и архиепископ Синайской горы Анания. Из Грузии был митрополит Епифаний, из Сербии – епископ Иоаким Дьякович, с Украины – блюститель киевской митрополии епископ Мефодий Мстиславский и знаменитый ученостью черниговский епископ Лазарь Баранович.

Все русские архипастыри, включая избираемого на Патриарший престол Иоасафа II и архиереев двух новообразованных епархий, собрались на соборный суд: митрополиты Питирим Новгородский, Лаврентий Казанский, Иона Ростовский, Павел Сарский; архиепископы Симон Вологодский, Филарет Смоленский, Стефан Суздальский, Иларион Рязанский, Иоасаф Тверской, Иосиф Астраханский, Арсений Псковский; епископы Александр вятский и Мисаил коломенский; новопоставленный митрополит Феодосий белгородский. Им сопутствовали многочисленные архимандриты, игумены, другие русские и иноземные духовные лица, часто не уступавшие архипастырям ни роскошью облачения, ни влиятельностью в церковных и светских кругах.

По суждению известного автора «Истории русской церкви» митрополита Макария, «в числе этих иерархов находились представители от всех самостоятельных церквей православного Востока»<sup>[38]</sup>. Это был самый представительный, еще невиданный в России по масштабам и блеску церковный собор – собор, от которого ждали наконец «вожделенного мира» в Русской православной церкви, прекращения раздиравших ее конфликтов, угрожавших рас-

---

<sup>2</sup> Панагия – небольшая иконка в драгоценной оправе, знак архиерейского достоинства.

падением на части, расколом. Большой собор 1666–1667 годов был, безусловно, важнейшим, переломным моментом, с одной стороны, в борьбе за единство церкви и, с другой – в возникновении раскола. Что же происходит: несколько человек, фанатично защищающих старые порядки, впад в ересь, с проклятиями проповедуют устно и письменно, из застенков и ссылок против официальной церкви, поднимая на свою сторону все большие массы народа – или же речь идет о разделении самой церкви?!

Глядя на жалкую фигурку приведенного стрельцами подсудимого, в своей поношенной темной одежке казавшегося грязным пятнышком на фоне сверкающего зала, церковные и светские власти могли усомниться в серьезности угрожающей господствующей церкви опасности. В самом деле, нужен ли был столь пышный собор, чтобы раздавить одного еретика (или десятков еретиков, ибо на суд приводили и других сторонников старой веры)?! Но перед ними стоял человек такой внутренней силы, вынесший столь чудовищные испытания и не поддавшийся таким прельстительным соблазнам, что, встретив его твердый взгляд, не один из присутствующих опускал глаза, чувствуя внезапно пробежавший по спине холодок. Перед большим церковным собором стоял протопоп Аввакум Петрович<sup>[39]</sup>.

Идейная, внутренняя история раскола весьма сложна для понимания и обычно заменяется в общественном сознании картиной противоборства двух действительно ярких и своеобразных фигур Русской православной церкви – патриарха Никона и протопопа Аввакума. Оба они родились в бедности в Нижегородском уезде, оба начинали службу сельскими священниками, оба выдвинулись благодаря своим незаурядным внутренним качествам в кружке «ревнителей благочестия» при царе Алексее Михайловиче (оба поссорились с царем – и к обоим своим противникам царь до конца дней испытывал почтение).

Никон и Аввакум были глубоко верующими, подчеркнуто благочестивыми людьми, стремившимися к очищению и укреплению православия. Оба были бескомпромиссны, не жалели никаких сил и средств для достижения целей. Каждый твердо считал себя подвижником, направляемым божественной десницей. И Никону, и Аввакуму являлись видения, они были уверены, что сила их молитвы исцеляет душевно и телесно больных (возможно, так оно и было). Оба отличались крутым характером, насколько позволяло положение, каждый мог быть жестоким. Аввакум и Никон были осуждены одним церковным собором, оба пребывали в заточении и позже погибли в течение полугода: один – возвращенный царем Федором Алексеевичем из ссылки, другой – сожженный заживо вместе с товарищами.

Разная судьба, разная степень испытаний не только сделали одного из церковных подвижников в глазах народа героическим страстотерпцем, а другого – гонителем и преследователем. Аввакум, несмотря на свой религиозный фанатизм, переноса в самом жестокое виде страдания и лишения, выпавшие на долю бесправного закрепощенного народа, духовно возвысился до выражения общенародной правды, протеста угнетенных против всех и всяческих угнетателей. Сочинения Аввакума, особенно его бессмертное «Житие», нет нужды рекомендовать читателю – они составляют классику русской литературы. По духовному заряду, по силе воздействия на читателя сочинения «огнепального» протопопа имеют немного равных даже в отечественной литературе XVIII века. Как ни поразительно, труды Аввакума и сейчас издаются для самого широкого читателя без перевода или адаптации: они не требуют перевода, как будто не написаны более 300 лет назад!

Никон оказался, по существу, бесплоден. Он оставил глубокий след не столько в душах людей, сколько в церковной организации и идеологии господствующей церкви. Недаром он долго был светочем множества церковных историков, да и историографов светского направления, трепетно относившихся к государственным мероприятиям и глубоко чтивших само понятие «реформа» (безотносительно к ее последствиям для народа). Только в литературе конца XIX – начала XX века было обосновано более взвешенное отношение к Никону и проводившимся им мероприятиям.

И все же, несмотря на все привнесенные жизнью различия, Никон и Аввакум были изначально явлениями одного порядка. Они вступили в активную жизнь как сыновья глубокого духовного кризиса, уходящего корнями в Великое разорение и Смуту, процветшего и пустившего свои метастазы в период беспощадных гонений на иноверящих и иномыслящих. У Никона, Аввакума и их сторонников воля одинаково заменяла разум, а обрядность, церковный ритуал – более важные, содержательные стороны вероучения. И те и другие не признавали и тени иномыслия, легко и убежденно проклинали все, что сколько-нибудь отступало от их представлений.

Учитывая, что Никон и никониане выступали гонителями, а Аввакум и его сторонники – гонимыми официальной церковью, для оценки конфликта особенно значительны мнения видных представителей этой самой церкви, спустя столетия постаравшихся объективно взглянуть на разномыслие XVII века. Вот что писал профессор Московской духовной академии Н.Ф. Каптерев, один из наиболее глубоких исследователей проблемы: «Никон по своему умственному складу и всему строю своего мышления, по общему характеру своих воззрений и понимания предметов веры и всего церковного, ничем существенно не отличался от противников своей реформы: он не обладал сравнительно с ними ни высшим кругом знаний, ни более верным и возвышенным пониманием предметов веры и церковно-обрядовой практики, ни более верным и культурным пониманием окружающих его явлений. Вследствие этого Никон, смело и авторитетно выступая в роли церковного реформатора, ломая и переделывая русскую церковную старину по образцу тогдашней греческой церковной практики, требуя от всех всецелого, безусловного подчинения себе и всем исходящим от него распоряжениям, не мог, однако, вести общество по новым, более светлым культурным путям, не просветлял и не возвышал своими реформами религиозно-церковного понимания тогдашнего общества, не двигал вперед его религиозно-церковную жизнь.

И даже мало этого, – продолжал профессор Каптерев. – Никон, проводя свою церковную реформу... имел очень неправильные представления о предметах своей реформы, то есть он исправлял старый русский обряд как неправый, нововводный, созданный русскими, несогласный с настоящим православным обрядом церкви, тогда как в действительности русский обряд был древний православный греческий обряд, – этого-то совсем и не знал Никон-реформатор, почему он и проводил свою церковную реформу совсем не так, как ее следовало проводить. Неправильно принятая и объясняемая (в том числе в наших учебниках. – А. Б.) реформа Никона вызвала сильный протест со стороны ее противников, которые, имея еще более неверные представления о происхождении, значении в церкви и отношении к вероучению обряда, открыто восстали уже не лично против Никона, но и против всей признавшей никоновскую реформу церкви»<sup>[40]</sup>.

Вопросы, по которым велась ожесточенная борьба внутри Русской православной церкви, расколовшая в конце концов эту церковь, и в самом деле удивительно поверхностны и мелки. В самом деле, нужно ли креститься двумя или тремя пальцами, петь «аллилуйя» дважды или трижды, говорить в молитве о Христе «Сыне Божий» или «Боже наш», ходить крестным ходом и вокруг купели по солнцу или против солнца, одевать священническую и монашескую одежду того или иного покроя и т. п.? Вряд ли эти вопросы могут быть поводом для взаимных проклятий и взаимоистребления. Тем не менее именно они и лежали на поверхности трагического конфликта, принесшего неизмеримые страдания и смерть множеству его участников.

«Жалко смотреть на эту нашу вековую церковную распрю, – восклицал Н.Ф. Каптерев, – всю основанную, с начала до конца, на недоразумении, на непонимании, на незнании иногда самых элементарных христианских истин, простых начатков истории церкви, на неверном, неправильном представлении с обеих спорящих сторон о тех предметах, о кото-

рых они так непримиримо и горячо спорят, ссорятся, обличают друг друга в неправославии и разных ересях, чего в действительности совсем нет у обеих враждующих сторон!»<sup>[41]</sup>

Показательно, что сходного взгляда придерживается и более близкий к современности крупный историк церкви, шедший в своем исследовании совершенно отличным от Каптерева путем: от изучения греческих Отцов Церкви. Вот что пишет о Никоне протоиерей Георгий Флоровский в фундаментальной монографии «Пути русского богословия»: «...в нем была историческая воля, волевая находчивость, своего рода “волезрение”... Он был деятелем, но не был творцом... Конечно, не “обрядовая реформа” была жизненной темой Никона. Эта тема была ему подсказана, она была выдвинута на очередь уже до него. И с каким бы упорством он ни проводил эту реформу, внутренне никогда он не был ею захвачен или поглощен. Начать с того, что он не знал по-гречески и так никогда и не научился, да вряд ли и учился. “Греческим” он увлекался извне. У Никона была почти болезненная склонность все переделывать и переоблачать по-гречески, как у Петра впоследствии страсть всех и все переодевать по-немецки или по-голландски. Их роднит также эта странная легкость разрыва с прошлым, эта неожиданная безытнность, умышленность и надуманность в действии. И Никон слушал греческих владык и монахов с такой же доверчивой торопливостью, с какой Петр слушал своих “европейских” советчиков... И подражание современным грекам нисколько не возвращало к потерянной традиции. Грекофильство Никона не было возвращением к отеческим основам, не было даже и возрождением византизма. В “греческом” чине его завлекала большая торжественность, праздничность, пышность, богатство, видимое благолепие. С этой “праздничной” точки зрения он и вел обрядовую реформу...

“Исправлял” Никон церковные чины по современному печатному греческому Евхологию, ради практического совпадения с греками, — замечает Г. Флоровский. — Это не было возвращением к “древности” или к “старине”, хотя и предполагалось, что “греческое” тем самым древнее и старше. И того же порядка держались при Никоне и в книжной справе. За основу для нового славянского текста принималась обычно новопечатная греческая книга... Да и то оказывалось чувствительное различие между разными изданиями одной и той же книги... “Шесть бо выходов ево Никоновых служебников в Русийское государство насильством разослано; а все те служебники меж собой разгласуются и не един с другим не согласуется”... Противники Никоновой справы с основанием настаивали, что равняли новые книги “с новопечатных греческих у немец”, с книг хромых и покидных, — “и мы тот новый ввод не приемлем”. И так же верно было и то, что иные чины были “претворены” или взяты “с польских служебников”, т. е. “ляцких требников Петра пана Могилы и с прочих латынских переводов”. Рукописи, привезенные с Востока Сухановым, не были и не могли быть употреблены в дело в достаточной мере и с должным вниманием...»

Таким образом, «старообрядцы» в первоначальном своем виде не возникли в результате Никоновой реформы, но являлись всего лишь представителями принятого на Руси православного обряда, грубо и жестоко спровоцированными непродуманными и не имеющими большого значения для самого патриарха нововведениями. «Главная острота Никоновой “реформы”, — как сформулировал Г. Флоровский, — была в резком и огульном отрицании всего старорусского чина и обряда. Не только его заменяли новым, но еще и объявляли ложным, еретическим, почти нечестивым. Именно это смутило и поранило народную совесть»<sup>[42]</sup>.

«Притягательная и обаятельная для массы сила противников Никона в том, между прочим, и заключалась, — сходно отмечает Н.Ф. Каптерев, — что они являлись борцами и защитниками за родную, попираемую Никоном святую старину, борцами за так называемую теперь русскую самобытность, которой угрожало гибелью вторжение иностранных новшеств»<sup>[43]</sup>. Отсюда — их упорнейшая борьба за малейшую букву, мельчайший штрих обряд-

ности, защита именно того пункта, по которому высшая церковная власть наносила главный удар. Но даже ученые гуманистического направления, испытывающие невольную симпатию к гонимым и обездоленным (в соответствии, нужно отметить, с евангельскими принципами), не могли признать совершенную справедливость этого церковного движения. «Весь раскол в чувстве отчуждения и самозамыкания, – писал Г. Флоровский. – Раскол ищет этой выключенности из истории и жизни. Он рвет связи, хочет оторваться. Всего менее это “старообрядчество” было хранением и воскрешением преданий. Это не был возврат к древности и полноте. Это был апокалипсический надрыв и прельщение, тяжелая духовная болезнь, одержимость...»<sup>[44]</sup>

И у Аввакума с товарищами фанатичная преданность старому обряду, постоянно выдвигаемая на первый план, оказывалась скорее средством, нежели целью. Между тем вне этих мельчайших обрядовых различий, вокруг которых поднялась такая полемическая буря (с тюрьмами, палачами, кострами и прокламациями в качестве аргументов), Аввакум и Никон со своими сторонниками оказываются крайне сходными по образу мыслей и убеждениям, даже по способам их выражения. Конечно, пока Никон мог жечь, а старообрядцы отдаваться на сожжение, это сходство не столь бросалось в глаза. Но вот Никон покинул престол и, вступив в открытый конфликт с самодержцем (и верным царю большинством иерархов), сам оказался гонимым...

Теперь стало трудно отыскать различия между отрешенным патриархом и запрещенным Аввакумом. В самом деле, Аввакум с товарищами «в лучших традициях» филаретовского искоренения инакомыслия уверяли, что после реформ Никона Русская православная церковь соединилась с латинством – с католиками, теми страшными врагами, к смертельной борьбе с которыми церковь во весь голос призывала еще в Смуту (и даже раньше). Но когда при царе Алексее Михайловиче возвысился выдававший себя за газского митрополита Паисий Лигарид, Никон аналогично заявлял о том, что из-за последнего русская церковь соединилась с римским костелом. «Латиняне, латиняне!» – этот призыв к кровопролитию равно звучал из уст Никона и из уст его противников – старообрядцев. Вышедшие из сформированных религиозной нетерпимостью рядов «ревнителей благочестия», они носили в душах единый образ врага.

Далее, если старообрядцы обвиняли в нововведениях Никона, то он то же самое говорит про Лигарида: «Новые законы вводишь от отверженных и неведомых книг... ово от отреченных книг, ово от внешних баснословных блужданий». Разум не должен был участвовать в определении того, что есть истина, – значение, как считали и старообрядцы, имело только происхождение источника уже готового текста.

Среди старообрядцев были сомнения: является Никон Антихристом, его учеником или предвестником? Их навело на эту мысль содержание реформы Никона. А самому Никону содержание нового юридического кодекса – Соборного уложения 1649 года – навело мысль о том, что руководивший его созданием боярин Одоевский есть предтеча Антихриста, действовавший «советом Антихриста, учителя своего». Этот боярин, по словам Никона, разорил «и священное Евангелие и все святые законы, не признавал Христа Богом! «О том, что все святые законы искоренил Никон, также не признававший якобы Христа Богом, трубили во всю силу своих легких и старообрядцы...

Под добродушное настроение Аввакум мог назвать Никона и никониан просто еретиками, хотя они были, по его мнению, много хуже мусульман, иудеев и язычников, превзойдя всех их в истязании христиан, в лютом мучительстве. Никон в свою очередь говорил Одоевскому с товарищами: «Я в вас христианства ничего не знаю, не вижу, кроме беззакония и мучительства, – дела ваши свидетельствуют!» Страшная эпидемия, поразившая города и веси Российского царства, была, по словам Никона, наказанием царю и народу за создание Уложения, ущемлявшего права церкви: «Не убоялась ли всякая душа человеческая?!» По

старообрядческим же сочинениям, эта эпидемия была наказанием за церковные нововведения Никона!

Там, где Никон и Аввакум расходились принципиально, в трудный для Никона момент они вдруг (!) чудесным образом оказались единомышленниками. Чтобы не приводить многих примеров, укажу наиболее разительные. Аввакум с товарищами не считали авторитетом восточных патриархов, которым Никон буквально смотрел в рот, и упорно называли еретическими, латинскими, ложными те греческие книги, по которым патриарх приказывал править русскую церковную литературу, убеждая паству, что только в них сохранилась истинная правда православия. Особым авторитетом у Никона пользовались греческие правила и антиохийский патриарх Макарий, его советчик в проведении реформ, преследовании староверов.

На большом соборе 1666 года, представ в качестве подсудимого, Никон буквально повторил позицию своих противников, отказавшись признавать авторитет восточных патриархов и греческих книг! На вопрос, «ведомо ли ему, что александрийский патриарх – вселенский судия», Никон ответил: «Там и суди. А в Александрии и в Антиохии ныне патриархов нет: александрийский живет в Египте, а антиохийский в Дамаске», то есть и епархий таких нет! Когда же, по вынесении приговора, восточные патриархи сняли с него архиерейские клобук и панагию и стали читать поучение, Никон публично выразил им глубокое презрение: «Знаю я и без вашего поучения, как жить, а что клобук и панагию с меня сняли – и они бы с клобука жемчуг и панагию разделили между собой, – а достанется жемчугу золотников по 5, и по 6, и больше, и золотых по 10!»

Еще ранее, при чтении греческих правил, Никон заявил, что «те правила не апостольские, и не вселенских соборов, и не поместных соборов, и он, Никон, тех правил не приемлет и не слушает». «Те правила приняла святая апостольская церковь», – стал уверять никонианин своего учителя, но Никон огорошил его заявлением, которое мог бы сделать Аввакум: «Тех правил в русской Кормчей книге нет, а греческие правила не прямые, те правила патриархи от себя учинили, а не из правил. После вселенских соборов – все враки, а печатали те правила еретики!» Можно было бы подумать, что это сказано в запальчивости, но и в другой раз Никон буквально повторил свое отрицание благочестивости греческой книжности, причем теми же словами, которыми пользовались староверы<sup>[45]</sup>.

Со своей стороны Аввакум, столь яростно проклиная и столь ярко живописавший зверства никониан, не раз показывал в своих сочинениях, как вел бы себя, окажись лидер староверов на месте Никона-мучителя. Так, он с нескрываемым восторгом пишет о библейском Мелхиседеке, коий «моляшеся господу Богу небесному с воплем крепким, да пожрет земля отца его, и мать, и брата, и всех... Бог же с небесе услышав его молитву, повеле расступиться земле и пожре их, и грады, и царство все. Оста един Мелхиседек», и этого Мелхиседека Аввакум уподобляет Христу! Не правда ли, это плохо сочетается с новозаветной проповедью Аввакума: «Еже есть хочещи помилован быти – сам такожде милуй; хочещи почтен быти – почитай; хочещи ясти – иных корми; хочещи взяти – иному давай» и т. п.?

Впрочем, призыв любви к ближнему «огнепальный» протопоп временами откровенно толкует в духе патриарха Филарета: «Рассуждай глагол Христов: своего врага люби, а не Божия, сиречь еретика и наветника душевного уклоняйся и ненавиди... С еретиком какой мир? Бранися с ним и до смерти...» Некоторые тексты Нового Завета Аввакум, похоже, просто не принимал. Он передает, например, притчу из Евангелия от Луки о нищем Лазаре, попавшем в рай, и богаче, угодившем в ад. Молитва богача к Аврааму была отвергнута праотцем, но Аввакума не устроила беззлобная форма отказа. «Каков сам был милостив?! – пишет он, обращаясь к мучающемуся богачу. – Вот твоему празднеству отдание! Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленные куры: вот тебе в то место жару в

горло, губитель души своей окаянной! Я не Авраам – не стану (тебя) чадом звать: собака ты! За что Христа не слушал, нищих не миловал? Полно-тко милостивая душа Авраам-от миленькой – чадом зовет, да разговаривает, будто с добрым человеком. Плюнул бы ему в рожу ту и в брюхо то толстое пнул бы ногою!»

Частые покаяния Аввакума не мешали ему письменно обосновывать насилие как законную форму борьбы за благочестие. «Да что-су вы, добрые люди, – обращался он к своим почитателям, – говорите: “Батько-де сердито делает”. У Николы тово (Чудотворца) и не мое смирение было, да не мог претерпеть: единого Ария, собаку, по зубам брызгнул. Ревнив был миленькой покойник. Не мог претерпеть хулы на святую Троицу. Собором стащили с него и чин весь: “Неправильно-де творишь, архиепископ”. Да ему даром дали пестрыя те ризы Христос да Богородица. И опять ево нарядили, а он себе никою не бояся... За что-то меня в те поры не было! Никола бы вора по щеке, а я бы по другой, блядина сына». Также в рассказе об Адаме и Еве Аввакум призывает провинившихся «перед Богом» «кнутом бить, да впредь не воруют!».

Последователи не случайно жаловались на суровость Аввакума. Он сам писал о себе с раскаянием: «Да и всегда таки я, окаянной, сердит, дратца лихой. Горе мне за сие!» Но это касалось избиения домашних женщин под горячую руку. В то же время сочинения Аввакума откровенно повествуют, как он использовал имевшиеся у него методы «воспитания»: избиения, «посаждение» в погреб, морение голодом и т. п. Поводом могло быть желание девушки (из услужения в семье Аввакума) законно выйти замуж по любви – Аввакум гордится, что воспрепятствовал этому. Он приказывал избивать человека «канатным толстым шелепом» до потери сознания – и писал об этом с удовольствием. Аввакум советовал староверам сопротивляться появлению в их домах священника-никонианина, вплоть до убийства: «Как он приидет, так ты во вратех тех яму выкопай, да в ней роженья натычь, так он и абрушится тут, да и пропадет. А ты охай, около ево бегая, будто ненароком»<sup>[46]</sup>.

Никон убивал, Аввакум призывал к убийству за малейшее отклонение от их, вождей, убеждений. Благочестие для них – единый порядок поведения всех людей, реализация воли вождя, выдававшей за волю небес. Никон навязывал свою волю, утверждал абсолютную духовную власть, грубо попирая старые обычаи. Все его реформы, формально привязанные к «грекофилии», идеям унификации ритуала вселенских церквей и т. п., были по сути своей средствами борьбы за утверждение и укрепление самодержавия патриарха.

Тезис Никона о том, что священство выше царства, часто понимается как призыв к наступлению на светскую власть, к установлению теократической диктатуры. «Яко капля дождя от великой тучи, то есть земля от небес мерится, так и царство уменьшится от священства», – утверждал Никон в запальчивости. «Патриарх есть образ живой Христов, и одушевлен делами и словами, в себе живописуя истину», тогда как царь называется земным богом лишь «от человек безумных» и цари «в сладость приемлют такие безумные глаголы: “Ты Бог земной”».

Но то, что утверждал Никон о патриаршей власти, уже давно приписали себе российские самодержцы, кровавая тень Ивана Грозного осеняла их «право» на истину в конечной инстанции, в том числе и в делах духовных. Попытка Никона отстоять во многом утраченную (кстати сказать, ущербную с самого начала христианства на Руси) независимость церкви опиралась как раз на святоотеческое учение, особенно на идеи Иоанна Златоуста, и с богословской точки зрения была правомерна. Но для этого Русская православная церковь должна была установить такую же железную диктатуру, в какую уже реализовалась ее соперница – светская власть. Иного пути противопоставить себя абсолютной монархии Никон и его сторонники не видели.

Могучая воля Никона – в миру мордовского крестьянина Никиты Минова – в считанные годы проделала работу, подобную той, что вели Иван III, Василий III, Иван Грозный

и их последователи на царском престоле. Не имея таких предпосылок, как патриарх Филарет Никитич, Никон оказал мощное воздействие на царя Алексея Михайловича, добился независимости от светских властей в деле управления церковью и церковными делами, все шире распространял церковный контроль над общественно-политической жизнью огромной страны. Он стал самовластным управителем церкви, подвел под патриаршую власть мощную экономическую базу, стал вторым «великим государем» в государстве и даже, в отсутствие царя в столице, выполнял его функции.

Для всякой крайней диктатуры традиции противопоказаны. Растоптать «старый обряд» было тем более необходимо, что он практически выражал стройную идеологическую концепцию подчинения священства царству. Как Петр I громил все, что мешало полному закреплению общества и утверждению военно-полицейской феодальной империи, так Никон не выбирал средств для сокрушения старой концепции. В этом отношении Аввакум был прозорлив, утверждая: «Как говорил Никон, адов пес, так и сделал: “Печатай, Арсен (никонианский справщик Арсений Грек. – А. Б.), книги как-нибудь, лишь бы не по-старому!” – так-су и сделал»<sup>[47]</sup>.

Сохранение древних церковных обрядов имело глубокий смысл, так как доказывало, что гарантом истинного благочестия является православный самодержец, что истинно благочестивая церковь может существовать лишь под крылом единоверной монархии. После падения Рима, а затем Константинополя центр мирового православия, согласно этой концепции, переместился в Россию, в Москву, этот «Третий Рим». Уже с XV века создавались и подгонялись под эту концепцию многочисленные сочинения, предсказания, пророчества, служившие в глазах россиян «обоснованием» столь лестного и идеологически полезного для набирающего силу государства убеждения.

«Два Рима пали, а Третий стоит и четвертому не бывать!» – провозглашалось в разной форме при различных случаях. Арсений Суханов и многие другие публицисты подробно рассказывали читателям и слушателям, как под пятой мусульманских завоевателей угнетенные православные верующие Востока постепенно утрачивают «праведный» обряд, который свято хранится под защитой государства в России; как на Русь широким потоком «исходят» с Востока православные ценности: реликвии, мощи, книги, «вся святыня»; как приходят в упадок восточные патриархии – а московская процветает невиданно; как вследствие всего этого Российское православное самодержавное государство является «жребием самая Богородицы», центром вселенной, светом всему миру; наконец, какую ответственность все это налагает на россиян, призванных не утратить свой свет, но пролить его «во все концы земные» и спасти угнетенных иноверцами братьев.

Православным иерархам на Востоке, разумеется, некогда было ждать появления двуглавого орла над стенами Константинополя: они обнищали настолько, что не могли существовать без присылавшейся из России «милостыни» (дотации и пожертвований) и потому особо трепетно относились к авторитету «греческого благочестия» у россиян<sup>[48]</sup>. Приезжая в Москву, они активнейшим образом поддерживали убеждение Никона (которому помогали стать патриархом) в независимости священства от царства, а также в сохранении благочестия греками, которые всегда были и будут «учителя веры». Первое утверждение формулировало цель неистового московского патриарха, второе превратилось в его средство против отечественных «ревнителей благочестия», из рядов которых он вышел.

Впрочем, Никон не полностью отказался от имперской концепции «Третьего Рима», применяя ее к священству. На словах преклоняясь перед греками и предоставляя им решать за себя все формальности, связанные с ритуалом, он в то же время решительно возносился над восточными патриархами. Недаром на реке Истре возникал могучий комплекс Нового Иерусалима, призванный стать еще более блестящим, чем старый Иерусалим, центром православной вселенной. Империи сторонников старого обряда и полицентризму православ-

ного Востока готовилось прийти на смену царствие – земное царство Христа в лице его наместника – великого государя святейшего Никона.

Идеализация исторических героев, мучеников, подвижников, литераторов, выражавших народные страдания и надежды, искажает самую суть исторического повествования, превращает лекарство, пусть горькое, в опаснейший яд. Это не самая свежая мысль, но нам необходимо ее напомнить, чтобы углубиться в суть явления, называемого расколом Русской православной церкви. Да, Никон *выглядел* грекофилом, а Аввакум *был* русофилом в очень современном для нас понимании этого слова.

Читая церковные книги на церковнославянском языке, Аввакум принципиально писал и говорил по-русски. «И вы, Господа ради, – писал он в конце “Жития”, – чтущий и слышавший, не позарите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык... Вот, что много рассуждать: ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетельми хочет; того ради я и небрежу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго».

«Ведаю разум твой, – писал Аввакум царю Алексею Михайловичу, – умеешь многи языки говорить, да што в том прибыли?.. Рцы по русскому языку: «Господи, помилуй мя грешнаго!».. Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. Говори своим природным языком; не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кирилом святым и братом его (Мефодием. – А. Б.). Чево же нам еще хочется лучше тово? Разве языка ангельска? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения»<sup>[49]</sup>.

Эти прекрасные мысли, однако, сочетались с проповедью «посконности и домотканности». «Не учен диалектики, и риторики, и философии! – гордо заявляет Аввакум и требует того же у своих последователей (из которых многие, к счастью, ему не повиновались). – Не ищите риторики, и философии, ни красноречия, но здравым истинным глаголом последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быть христианин»<sup>[50]</sup>. Отсюда оставался один шаг до глубоко противного истинному христианству противопоставления народов друг другу.

«...Русаки бедные – пускай глупы! – рады: мучителя дождались, полками в огонь держат за Христа, Сына Божия, света. Мудры блядины дети греки, да с варваром турским с одново блюда патриархи кушают рафленныя курки. Русачки же миленькия не так: во огонь лезет, а благоверия не предает!»<sup>[51]</sup> Конечно, на оскорбление «греков» (православных церковных иерархов на Востоке) толкала староверов грекофилия официальной церкви, но страсти Аввакума к русскому простиралось до оправдания ужасающих преступлений против русского народа во имя утраченного «порядка».



*Царь Алексей Михайлович Романов*

Если Никон старался наверстать в церкви то, в чем преуспел Иван Грозный для светской власти, то Аввакум с сожалением вспоминал о «твердой руке» Грозного, способной незамедлительно свернуть шею зарвавшемуся патриарху. «Знаете ли, вернии? – писал протопоп, – Никон пресквернейший – от него беда та на церковь ту пришла. Как бы (был) добрый царь – повесил бы его на высокое древо... Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке!»

Указав царю Алексею Михайловичу, что тот «русак», Аввакум немедленно потребовал: «Перестань-ко ты нас мучить тово! Возьми еретиков тех (никониан. – *Авт.*), погубив-

ших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо!.. Понеже суд бывает без милости несотворшим милости».

Гнев Аввакума нарастал, и новому царю – Федору Алексеевичу он предложил уже более четкую программу уничтожения иномыслящих. «А что, государь-царь, – писал он, – ка б ты мне дал волю, я бы их, что Илия пророк, всех перепластал во един час. Не осквернил бы рук своих (человеческой кровью. – А. Б.), но и освятил, чаю. Да воевода бы мне крепкой, умной – князь Юрья Алексеевич Долгорукой! Перво бы Никона, собаку, и рассекли начетверо, а потом бы никониян. Князь Юрья Алексеевич, не согрешим, небось, но венцы победныя примем!» Что ж, выбор полководца для войны за веру был удачен, ведь князь Ю.А. Долгоруков приобрел к этому времени (послание царю написано в 1676 году) немалый карательный опыт во главе войск, заливших кровью Крестьянскую войну под руководством Степана Разина<sup>[52]</sup>. К счастью, царь Федор не откликнулся на призыв Аввакума. Что же касается действительно талантливого полководца Ю.А. Долгорукова, то он в 1682 году, во время восстания в Москве, был казнен народом.

Аввакум пошел и дальше надежды на привлечение себе в союзники воеводы-карателя. Для истребления врагов «старой веры» хороши были и мусульмане. «Разумеешь ли кончину арапа онаго, – писал он товарищу при ложном известии о смерти судившего его некогда патриарха Паисия, – иже по вселенной и всеа Руския державы летал, яко жюк мотыльный, из говна прилетел и паки в кал залетел, – Паисей александрийский епископ? Распял-де ево Измаил (мусульманин. – А. Б.) на кресте, еже есть турецкой. Я помыслил: ано достойно и праведно... Распяли оне Христа в Руской земле, мздою исполнь десницы своя, правильне варвар над ними творит!»

Началась тяжелейшая и кровопролитнейшая война России с Османской империей, на Украине и в Приазовье шли жестокие бои – и русофил Аввакум надеялся, что турецкий владыка – «Салтан Магмедович» – отомстит российской церкви («любодеице») и российским людям за гонения на староверов: «Поддай Господи! Поддай Господи! Не смейся враг, новый жидовин, распенше Христа! Еще надеюся Тита втораго Иуспияновича (Тит, сын римского императора Веспасиана, разрушивший Иерусалим. – А. Б.) на весь Новый Иерусалим, идеже течет Истра река, и с пригородком, в нем же Неглинна течет (то есть с Москвой. – А. Б.). Чаю, подвигнет Бог того же турка на отмщение кровей мученических. Пускай любодеицу ту потрясет, хмель-ет выгонит из блядки! Пьяна кровью святых», то есть единомышленников Аввакума, и потому должна быть уничтожена мусульманским мечом! <sup>[53]</sup>

Вот уж, как говорится, картина, знакомая до слез. Но мы сейчас должны углубиться не в исторические ассоциации, а в более подробный анализ того, как Аввакум пришел к желанию, чтобы враг уничтожил всю Москву, в которой, надо полагать, даже с точки зрения «огнепального» протопопа, было много невинных людей, да и его сторонников-староверов.

Искренняя, глубокая жалость к страдальцам, мученикам за старую веру, постоянно звучит в сочинениях Аввакума. Но принципиальная нетерпимость к иномыслию, призывы к истреблению всех «не своих», неодинаковых, логически вели к самоистреблению. Проповедь ухода от мира, в котором восторжествовала никонианская «ересь», пала в пороховую бочку народного отчаяния, вызываемого всем строем жизни феодального государства. В своем крайнем проявлении отчаяние толкало дальше, к уходу из мира, из жизни. Характерно, что призывы и примеры столь противного христианской морали самоубийства исходили не от духовных вождей старообрядчества, а от грубых изуверов (подобных Капитону, Василию Волосатому, попу Александрищу и другим), отличавшихся почти (если не вовсе) безумным «неистовством».

Пост до голодной смерти, идея огненного крещения – этот «новоизобретенный путь самоубийственных смертей» вызывал омерзение и ужас у вождей старообрядчества (см., например, «Отразительное писание» инока Ефросина). Но могучая воля Аввакума позво-

лила ему до конца пройти тот логический путь, от которого отшатывались товарищи, – и первым горячо приветствовать начавшиеся самоубийства – этот знак, по его словам, «нынешнего огнепального времени». Если святы те правоверные, кого сожгли никониане, то святы и те, кто по своей воле уходит от никониан в огонь. Самоубийство в устах христианина становится подвигом, ибо для Аввакума, как и для Никона, человеческая жизнь превращается почти в ничто перед идеей, перед требованием единомыслия.

«В Казани никонияны тридцать человек сожгли, – пишет протопоп, – в Сибири столько же, в Володимере шестеро, в Боровске четырнадцать человек. А в Нижнем (Новгороде) преславно бысть: овых еретики пожигают, а инии, распальшися любовию и плакав о благовереии, не дождався еретического осуждения, сами во огонь дерзнувшие, да цело и непорочно соблюдут правоверие. И сожегше своя телеса, души же в руце Божий предаша, ликовствуют со Христом во веки веком, самовольны мученички, Христовы рабы. Вечная им память во веки веком! Добро дело содеяли... надобно так!»

«Да еще бы в огонь христианин не шел! – восклицает Аввакум, описав “дьявольские” обычаи никониан. – Сгорят-су все о Христе Исусе, а вас, собак, не слушают. Да и надобно так правоверным всем: то наша и вечная похвала, что за Христа своего и святых отец предания сгореть, да и в будущем вечно живи будем о Христе Исусе...»<sup>[54]</sup>

Так духовный вождь, выдающийся русский писатель простирает перо, направляя десятки (а позже сотни и тысячи) людей в огонь; утверждая своим высочайшим авторитетом самоубийство мужчин, женщин и малых детей. Он мог пожалеть одного «уморенного» ребенка и назначить женщине кару за это преступление<sup>[55]</sup>, но когда дело касалось обрядности – убийство сжигаемых матерями грудных младенцев было для Аввакума святым делом. Мог ли он жалеть врагов – русских людей, следовавших слегка отличающемуся ритуалу, и не призывать на их головы мусульманский меч?! Вопрос для истинного русофила риторический: истреблять себе подобных «для блага народа» – дело святое...

Не Аввакум и ему подобные были инициаторами раскола. Называть их «раскольниками», в отличие от «истинных» православных, сохранивших верность официальной церкви, – значит использовать ярлык церковных пропагандистов старого времени. Реформы Никона были не просто первым ударом колокола, возвестившим о приближении катастрофы, – это был взрыв, потрясший самые основы мировоззрения традиционно верующих людей. Но мощь этого взрыва не может польстить памяти Никона, ибо она определялась совсем не им, а позицией светской власти, поведением царя Алексея Михайловича и его приближенных, твердо поддержавших реформы.

Ведь именно православный царь был, по широко распространенному убеждению, гарантом благочестия Русской православной церкви. Именно с наличием православного царства связывали староверы (как явные, так и тайные) мечту о земном Божием Граде, «Третьем» – и вечном до Страшного суда – «Риме». И этот государь, эта надежда и опора, этот светоч православия «отступил!» Мир рушился в глазах староверов, Рим, который не должен был пасть, проваливался в тартарары. Четвертому Риму не бывать – значит, кончается сама история, точнее, священная история, приходит Антихрист...

«Яко ты наш государь, благочестивый царь, – писал опальный Аввакум Алексею Михайловичу, – а мы твои богомольцы: некому нам возвещать, како строится во твоей державе». А ведь эти слова написаны после одиннадцатилетней ссылки в Сибирь и в Даурию с женой и малыми детьми, невероятных лишений и потерь, смерти детишек, после мучений, обрушившихся на протопопа по воле царя или с его разрешения! И такие обращения к царю следовали одно за другим, многие годы, со вспышками надежды на восстановление идеала староверов.

«Царь-государь и великий князь Алексей Михайлович! – писал Аввакум в пятой челобитной. – Многожды писахо(м) тебе прежде и молихом тя, да примиришися Богу и умилишися о разделении твоём от церковн(о) го тела. И ныне последнее тебе плачевное моление приношу, из темницы, яко из гроба, тебе говорю: помилуй едиnorodную душу свою и вниди паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден еси с прежде бывшими тебе благочестивыми цари, родители твоими и прародители... Аще мы раскольники и еретики, то и вся святии отцы наши, и прежний цари благочестивии, и святейшия патриархи такови суть... Воистину, царь-государь, глаголем та: смело дерзаете, но не на пользу себе. Кто бы смел реши таковыя хульные глаголы на святых, аще бы не твоя держава попустила тому быти?»

Аввакум не только утверждает, что именно царь обладает решающей силой в церковных делах, но и изъясняется в любви к нему: «И елико ты нас оскорблявши больши, и мучишь, и томишь, толико мы тебя любим, царя, больши и Бога молим до смерти твоей и своей о тебе и всех кленущих нас: Спаси, Господи, и обрати ко истине своей! – Но тут же следует угроза: – Аще же не обратитесь, то вси погибнете вечно, а не временно».

«Аще не ты по Господе Бозе, кто там поможет? – пишет Аввакум уже новому царю – Федору Алексеевичу, севшему на отцовский трон в 1676 году. – Столпи поколебашася наветом Сатаны, патриарси изнемогоша, святители падоша и все священство еле живо – Бог весть! – али и умроша. Увы, погибне благоговейный от земли и несть исправляющаго в чловецех! Спаси, спаси, спаси их, Господи, ими же веси судьбами!» – взывает Аввакум, подражая под «исправляющим» именно царя, бояр, которые должны были заставить исправиться патриарха. Нельзя сказать, чтобы это обращение было неискренним, ведь сразу по восшествии Федора на престол Аввакум призвал единомышленников молиться за государя, а в 1681 году, когда «неисправление» царя стало очевидно, а положение староверов ухудшилось, протопоп присоединился к замыслу товарищей «с челобитными по жребию стужати царю о исправлении веры»!<sup>[56]</sup>

Эта настойчивость тем более показательна, что Аввакум и его товарищи прекрасно понимали «отступничество» царской власти. Недаром вспоминал протопоп византийского императора Константина, не исполнившего якобы свой долг по охране благочестия церкви, которого «предал Бог за отступление-то сие Магнету, турецкому царю (султану Мехмеду II Фатиху, завоевателю Константинополя. – А. Б.), и все царство греческое с ним». Подобная гроза нависла и над Российским православным царством, считал протопоп. Кому достанется гибнущее после утраты благочестия царство Русское? «Разве турецкому царю?» Ведь рушится основа святости: «Царя тово (Алексея Михайловича. – А. Б.) враг Божий омрачил... А царь-ет, петь, в те поры чается и мнится, будто и впрямь таков, святее его нет!»

На первый взгляд позиция Аввакума относительно пределов царской власти и ее функций в религиозной области противоречива. «В коих правилах писано, – с возмущением восклицает протопоп, – царю церковью владеть, и догматы изменять, и святая кадить? Только ему подобает смотреть и оберегать от волк, губящих ея, а не учить, как вера держать и как персты слагать. Се бо не цареве дело, но православных архиереев и истинных пастырей, иже души своя полагают за стадо Христово, а не тех, глаголю, пастырей слушать, иже и так и сяк готовы на одном часу перевернутца. Сии бо волцы, а не пастыри, душегубцы, а не спасители: своими руками готовы неповинных крови пролияти и исповедников православныя веры во огнь всажати. Хороши законоучителие! Да што на них дивить! Таковыя нароком поставлены, яко земские ярышки (стряпчие. – А. Б.) – что им велят, то и творят. Только у них и вытвержено: “а-се, государь, во-се, государь, добро, государь!”»

Аввакум гневно обличает архиереев, коие «токмо потакают лишю тебе (царю Алексею Михайловичу. – А. Б.): “Жги, государь, крестьян тех, а нам как прикажешь, так мы в церкви и поем; во всем тебе, государю, не противны; хотя медведя дай нам в олтарет, и мы рады тебя, государя, тешить, лишю нам погребы давай да кормы с дворца. Да, право так – не лгу!”»

«Любя я тебе, право, сие сказал, – отмечает протопоп, – а иной тебе так не скажет, но вси лижут тебя – да уже слизали и душу твою!»<sup>[57]</sup>

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Комментарии

1.

См. главные исследования: Вилинский С.Г. Послания старца Артемия (XVI века). Одесса, 1906; Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI века. М., 1958. Ч. 1. Гл. IV. § 2. Дело старца Артемия. С. 153–168. Здесь же указана библиография.

2.

Все известные ныне послания Артемия опубликованы: Русская историческая библиотека. Спб., 1878. Т. 4. Ст. 1201–1448.

3.

Стефанович Д. О Стоглаве. Его происхождение, редакция и состав. К истории памятников древнерусского церковного права. Спб., 1909. С. 51–52.

4.

Источники опубликованы: Белокуров С.А. О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. Приложения. С. IX, XXI, LXXIII, LXXVI–LXXVII.

5.

Послание Сильвестра опубликовано: Голохвастов Д. П., Леонид. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1874. Кн. 1.

6.

Об описанных ниже событиях мы узнаем из «Дела Висковатого» – материалов освященного собора конца 1553 – начала 1554 г. (лучшая публикация: Бодянский О.М. Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова сына Висковатого // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1858. Кн. 2. Отд. III. С. 1–42). Подробнее см. Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. Ч. 1. Гл. IV. § 3. Вольнодумец Башкин и его единомышленники. С. 168–182.

7.

Челобитные (доносы) Сильвестра и Симеона опубликованы с «Делом Висковатого» (см. также: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею императорской Академии наук (далее – ААЭ). Спб., 1836. Т. 1. С. 246–249). Отсюда взяты приведенные выше без ссылок характеристики Артемия, его отношений с Сильвестром и царем, его популярности.

8.

Об изложенных ниже событиях мы узнаем из «Соборной грамоты в Соловецкий монастырь о заточении бывшего троицкого игумена Артемия, с приписанием соборного о нем определения», опубликованной в ААЭ (Т. 1. С. 249–256).

9.

Сочинения князя Курбского // Русская историческая библиотека. Спб., 1914. Т. 31. С. 335–338, ср. с. 333. Упоминаемое ниже письмо Курбского Марку Сарыгозину с оценкой Артемия опубликовано здесь же, с. 415–420.

**10.**

Опубликована: Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. 13. См. С. 232–233.

**11.**

Московские соборы на еретиков XVI в. // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. Кн. 3. С. 1; Зимин А.А. И.С. Пересветов и его современники. С. 160–162; и др.

**12.**

Сообщения Андрея и Захарии см.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. Кн. 8. С. 2–3; Русская историческая библиотека. СПб., 1878. Т. 4. Ст. 913.

**13.**

Садковский С. Артемий, игумен Троицкий // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1891. Кн. 4. Отд. III. С. 140.

**14.**

«Словеса» И.А. Хворостинина опубликованы: Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. СПб., 1909. Ст. 525–558 (Русская историческая библиотека. Т. 13).

**15.**

О жизни и деятельности И.А. Хворостинина см.: Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. СПб., 1888. С. 182–203; Зеньковский С. Друг самозванца, еретик и стихотворец князь Иван Андреевич Хворостинин. Нью-Йорк, 1956; Семенова Е.А. Русская общественная мысль первой половины XVII века (творчество С.И. Шаховского и И.А. Хворостинина). Автореферат дис. канд. ист. наук. Л., 1982; Анашкина Н.В. И.А. Хворостинин – писатель первой четверти XVII века. Автореферат дис. канд. филол. наук. М., 1989.

**16.**

Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России. СПб., 1874. С. 208.

**17.**

Сведения о первой ссылке И.А. Хворостинина приведены в грамоте царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета Никитича Романовых от января 1624 года об освобождении князя из вторичного заточения (в Кирилло-Белозерском монастыре). Грамота содержит обзор всех прежних «прегрешений» Хворостинина и церковных преследований, которым он подвергался, излагает приговор князю, вынесенный освященным собором в конце 1622 года. См.: Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. СПб., 1822. Ч. 3. С. 331–332. № 90.

**18.**

О нем подробнее см.: Смирнов А. Святейший патриарх Филарет Никитич // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1874. № 2.

**19.**

Цит. по: Платонов С.Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. С. 187.

**20.**

Цит. по рукописям: Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Отдел рукописей. Ф. 256 (собрание Румянцева). № 413. С. 2341; Центральный государственный архив древних актов. Ф. 181 (собрание МГАМИД). № 20/25. Л. 805; и др.

**21.**

Об их осуждении см.: Скворцов Д. Дионисий Зобниновский, архимандрит Троице-Сергиева монастыря. Тверь, 1890; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1961. Кн. 5. С. 316–320; здесь же рассказывается о противниках Дионисия с товарищами, которых мы упомянем ниже.

**22.**

Подробнее см.: Богданов А.П. К полемике конца 60 – начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного заведения в России. Источниковедческие заметки // Исследования по источниковедению истории СССР XIII–XVIII вв. М., 1986.

**23.**

Савва В.И. Сочинения князя Ивана Андреевича Хворостинина // Летопись занятий императорской Археографической комиссии за 1905 год. СПб., 1907. С. 14 и др.

**24.**

Там же. С. 33–37.

**25.**

Там же. С. 38–80.

**26.**

Об источниках и форме «Изложения» см. новейшее исследование: Анашкина Н.В. У истоков русского виршеписания (Наблюдения над стиховыми формами И. Хворостинина). МГУ. Филологический факультет. М., 1988. Деп. в ИНИОН АН СССР № 32999 от 09.03.88.

**27.**

Акты Археографической экспедиции. Т. III. № 147. «Учительный свиток» сохранился в рукописи Государственной публичной библиотеки РСФСР им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, собрание Погодина, № 1563. Л. 115–122 об.

**28.**

Наиболее подробное исследование жизни и творчества Антония см.: Былинин В.К. Стихотворения Антония Подольского // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. М., 1990. Вып. 48.

**29.**

Орлов А.С. Домострой по Кашинскому списку и подобным. Кн. 2 // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1911. Кн. 1. Отд. II. С. 103–112.

**30.**

Православный собеседник. Казань, 1862. Ч. 1. С. 283–288.

**31.**

Большинство названных сочинений до сих пор не изданы (о них см. в работе В.К. Былинина); «Слово о царствии небесном» опубликовано: Православный собеседник. Казань, 1864. Ч. 1. С. 108–126, 227–246.

**32.**

Подробнее см.: Былинин В.К. Стихотворные «Предисловия много различны» в рукописях первой половины XVII века // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. М., 1983. Вып. 44. С. 7–18; предисловие к Хронографу опубликовано: Попов А.Н. Обзор хронографов русской редакции. М., 1869. Вып. 2. С. 245–252.

**33.**

Все цитируемые далее послания Антония Подольского и справщика Ильи опубликованы в приложениях к статье В.К. Былинина «Стихотворения Антония Подольского».

**34.**

Цит. по кн.: Соловьев С.М. История России... Кн. 5. С. 317 и сл.

**35.**

Иван Наседка. О новой новине, претворенной на Богоявленское водосвящение. См. в рукописях: Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина. Отдел рукописей. Собрание Московской духовной академии. Фунд. (ф. 173). № 177. Л. 382–417; Государственный исторический музей. Отдел рукописей. Синодальное собрание. № 298. Л. 496–530. Здесь см. и описание церковных споров.

**36.**

Цит. по кн.: Соловьев С.М. История России... Кн. 5. С. 322–323.

**37.**

О патриархе Никоне и его осуждении см.: Макарий, митрополит Московский и Коломенский. История русской церкви. Т. XII. Патриаршество в России. Кн. III. СПб., 1883; Гиббенет Н.А. Историческое исследование дела патриарха Никона. СПб., 1882–1884. Ч. 1–2; Дело о патриархе Никоне. СПб., 1897; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев-Посад, 1909–1912. Т. 1–2; Он же. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. 2-е изд. Сергиев-Посад, 1913; и др.

**38.**

Макарий. История русской церкви. Т. XII. С. 684. Ср. С. 682–683.

**39.**

Жизни и трудам Аввакума посвящена обширная литература. Подробнее о нем см.: Бороздин А.К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. 2-е изд. доп. и испр. СПб., 1900; Жуков Д.А. Аввакум Петров // Жуков Дм., Пушкирев Л. Русские писатели XVII века. М., 1973; Малышев В.И. Материалы к «Летописи жизни протопопа Аввакума» // Древнерусская книжность. По материалам Пушкинского дома. Сб. научных трудов. Л., 1985. С. 277–322; и др.

**40.**

Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 523–524.

**41.**

Там же. С. 524.

**42.**

Флоровский Г. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981. С. 63–65.

**43.**

Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 533.

**44.**

Флоровский Г. Пути русского богословия. С. 73.

**45.**

Приведенные сопоставления основаны на материалах монографии Н.Ф. Каптерева «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович». Т. 2.

**46.**

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Горький, 1988. С. 50, 52–53, 70, 75, 86, 90, 94, 96–97, 101, 135, 146, Ср. с. 178.

**47.**

Там же. С. 46.

**48.**

Эти вопросы подробнейшим образом исследованы: Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к Православному Востоку в XVI и XVII столетиях. 2-е изд. Сергиев-Посад, 1914.

**49.**

Житие протопопа Аввакума... С. 56, 83, 137.

**50.**

Там же. С. 47, 92. Неприятие протопопом науки и учености хорошо выражено в его выговоре духовной сестре: «Евдокея, Евдокея, почто гордаго беса не отринешь от себя? Высокие науки ищешь, от нея же падают Богом неокормлени, яко листвеие. Что успе Платону, и Пифагору, и Демостену со Аристотелем? – Коловратное течение тварное разумеюще, от Ада не избывше. Дурь-ка, дурька, дурищо! На что тебе, вороне, высокие хоромы? Граматику и риторику Васильев, и Златоустов, и Афанасьев разум обдержал. К тому же и диалектик, и философию, и что потребно – то в церковь взяли, а что непотребно – то под гору лопатою сбросили... Ай, девка! Нет, полно, меня при тебе близко, я бы тебе ощипал волосье за граматику ту!» (С. 184).

**51.**

Там же. С. 137.

**52.**

Восстание С.Т. Разина, как и Коломенский бунт, Аввакум считал «беззаконием грешных человек» и такой же «пагубой», как мор и война (Там же. С. 163).

**53.**

Там же. С. 79, 84, 115, 131. Ср. с. 153.

**54.**

Там же. С. 69, 145, 137–138, Ср. с. 132 и др.

**55.**

Там же. С. 175.

**56.**

Там же. С. 104, 109–110, 112, 115, 177, 179.

**57.**

Там же. С. 64–65, 79–81, 84, 85.